SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.


- Михаил Барро
  - 
  - Глава I. Детство и годы учения
  - Глава II. Первые произведения и речи
  - Глава III. Маколей – государственный человек
  - Глава IV. Опять в парламенте
  - Глава V. «История Англии»
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

# Михаил Барро
# Маколей. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк М.В. Барро.*
*С портретом Маколея, гравированным в Лейпциге Геданом*

# Глава I. Детство и годы учения

***Могила З. Маколея в Вестминстерском аббатстве. – З. Маколей – отец Т. Б. Маколея. – Предки их. – Значение духовной карьеры в характере Маколеев. – Выдающиеся представители фамилии. – Первые годы З. Маколея. – Служба в Вест-Индии. – Влияние картин рабства. – Попытки компромисса. – Возвращение в Англию. – Противоневольническое движение. – Уильям Вильберфорс. – Парламентская борьба с рабовладельцами. – Сьерра-Леоне. – Захария Маколей – директор колонии. – Его труды и неудачи. – Первая поездка в Англию. – Встреча с будущей женой. – Окончательное водворение в Англии. – З. Маколей – секретарь противоневольнического общества. – Женитьба. – Рождение Т. Б. Маколея. – Его детство. – Замечательные умственные способности. – Первые книги. – Начало школьной жизни. – Влияние отца и знакомых. – Переход в университет. – Семейный раскол. – Маколей – либерал***.

В Вестминстерском аббатстве, этом пантеоне Англии, недалеко от могилы Джемса Макинтоша, стоит скромный памятник со следующей красноречивой надписью: «Захарии Маколею, который в течение долгой жизни с напряженным, но спокойным упорством, не останавливаясь среди успеха, не страшась никаких неудач, трудов, лишений или упреков, посвятил свое время, талант, имущество и всю энергию души и тела на пользу угнетенного человечества и участвовал больше сорока лет сряду в совещаниях, руководимых и благословенных Богом и благополучно увенчанных сначала – освобождением Британской империи от преступного торга неграми, а потом – дарованием свободы 800 тысячам невольников, – поставлен этот памятник теми, кто черпал мудрость из духа и урок из жизни покойного, а теперь смиренно радуется в уверенности, что через божественного Искупителя, опору всех его надежд, он разделяет блаженство покоящихся от труда, дела которых следуют за ними».

Захария Маколей – отец историка Томаса Бабингтона Маколея. Отдаленные предки обоих – шотландские горцы, ближайшие – ревностные пресвитериане и большей частью священники. Принадлежность к духовному сословию – весьма важное обстоятельство, когда речь идет о деятелях Англии XVI, XVII и XVIII столетий. Эта эпоха отмечена религиозной борьбой, а эта борьба, в свою очередь, придавала своим участникам политический оттенок, выдвигала на общественное поприще «людей героических, которые высоко держали в своих руках

грозные орудия пропаганды». Священное Писание было для этих людей политическим руководством, они извлекали оттуда примеры. Летопись минувшего была для них готовым стереотипом для катехизиса настоящего и будущего. Они даже говорили языком Библии и в своих идеях видели внушения Святого Духа.

Такое настроение не могло улечься сразу. Когда затихла борьба на почве догматов, борьба официального характера, у домашних очагов еще продолжала сохраняться ее героическая мимика и жестикуляция, подобно тому, как сохраняется осанка старого воина вдали от военных тревог, в мирной тиши деревенской жизни. И подобно тому, как появление этого воина на покое часто придает сельской беседе воинственный оттенок, так умственные течения в семьях английских священников, ветеранов религиозной борьбы и их потомков, очень долго оказывались результатом слияния религиозных и политических течений. В такой атмосфере необходимо должны были создаваться люди, глубоко преданные своему делу, у которых служение Богу было в то же время служением обществу и служением не в том, чтобы подгонять общество под существующие формы, оправдывая их сомнительными ссылками на Священное Писание, но в том, чтобы подвигать его на путь совершенства. Правда, предел, его же не прейдеши – конечно, по личным воззрениям отдельных представителей этой среды – нередко нарушал единство гуманных стремлений последних, но только единство, и все потому же, что эти люди не могли отрешиться раз и навсегда от завещанного традициями взгляда на прошлое как на незаменимый стереотип для настоящего и будущего. С этим придется считаться, говоря о Маколеях.

В самом начале XVIII века один из представителей этой фамилии, Олэ, дед Захарии Маколея, был священником в Шотландии. Он исполнял свою обязанность чрезвычайно ревностно и при самых тяжелых условиях, не имея ни храма для службы, ни хлеба и вина для таинства, ни земли, ни церковного дома. Старший сын его Кеннет – подобно отцу, священник – выступал в то же время на литературном поприще, а другой, Джон, того же звания, отличился еще в юные годы как ярый противник Стюартов и фанатичный виг. Он едва не сделался причиной гибели претендента на английскую корону, Карла-Эдуарда, потому что выследил его местопребывание и донес об этом властям. В более мирной обстановке Джон был известен как замечательный оратор и пользовался влиянием среди сограждан. В 1774 году он покинул Инверари, где началось его священничество, и переселился в Кардрос в Домбартоншире, где

провел пятнадцать лет до конца своей полезной и почтенной деятельности.

Джон Маколей был женат дважды. Его первая жена умерла от родов, а восемь лет спустя, в 1757 году, вдовец женился на Маргарите Кэмбел, от которой имел патриархальное число потомков. Воспитание всех этих двенадцати велось по старинной шотландской системе, сохранявшейся в семьях священников: чистый воздух, скромная пища и довольно основательные познания в светских и духовных науках. Первый из питомцев этой системы, старший сын Олэ, был впоследствии священником и вместе с тем славился как знаток древностей и учитель, причем в качестве последнего был известен даже в придворных кругах. Он работал также на литературном поприще и написал несколько памфлетов и исследований. Как ни почтенны, однако, личности Олэ Маколея и его родичей, не их заслуги привлекли к этой фамилии сперва все английское, а потом и всемирное внимание. Она обязана этим двум последним своим представителям: брату только что названного Олэ – Захарии и его сыну Томасу.

Биографических сведений о Захарии Маколее немного. Он родился в 1768 году и всего шестнадцати лет уже занимал самостоятельное положение на службе в одном шотландском торговом доме. Как бухгалтер он был послан своими доверителями в Вест-Индию на остров Ямайка и оказался лицом к лицу с плантаторами и неграми, их рабами. В теории это не было для него неожиданностью. Даже больше. В теории рабство не казалось ему злом, с которым надо бороться. Так воспитали его семейные предания, и это было слабое место не одних Маколеев, для которых, как для многих других, прошлое было стереотипом настоящего, и что существовало в этом прошлом, то должно было существовать и в будущем. В глазах этих людей рабство пользовалось всеми правами на существование, потому что слово «раб» упоминается в Библии, и та же Библия говорит рабам: «Рабы, повинуйтеся владыкам вашим». Но на практике большинство этих людей отступало от своей программы: в их исторической преданности общественным интересам, благу человечества и гуманности была их сила. Как только практика свела Захарию с теоретически признанной «необходимостью», он сразу почувствовал, что эта «необходимость» – зловонная язва и что никакие ссылки на Священное Писание не могут оправдать страданий одной стороны и насилия другой. В выборе средств врачевания язвы он был не так решителен. Он взглянул на дело сперва глазами филантропа, с сокрушенным сердцем проливающего елей на раны страдальцев, без всякой мечты о новом порядке. Одним словом, вначале это был один из

сострадательных самарян, поправляющих злодеяния разбойников, но чуждых огня негодования… Нагих они одевают, голодных кормят, к заключенным приходят со словом утешения, но редко восклицают «Quousque tandem, Catilina?!»[1] и еще реже низвергают Катилину.

В этом духе начал действовать и Захария. Он решил сперва пойти на компромисс и в продолжение своего восьмилетнего пребывания на Ямайке, по собственным его словам, стремился, сколько мог, «облегчить страдания значительного числа своих собратьев и сделать для них возможно слаще горькую чашу рабства». Не принадлежа, однако, к числу филантропов, совесть которых успокаивается перемещением копейки из их кошелька в руку голодного собрата и которые, как бывали тому примеры, даже впадают в грусть при мысли о возможности такой эпохи, когда не будет надобности в подобной гимнастике души, Захария не замедлил почувствовать, что подслащивание горькой чаши рабства – лишь начало более серьезного дела: уничтожения самого рабства.

Конечно, выступить с подобным проектом перед вест-индскими плантаторами нечего было и думать. Рабство было фундаментом их благополучия, счастьем их семей, источником радостей их бытия, и они зорко оберегали его, с тем большим успехом, что пропаганда освобождения негров легко подводилась под параграф о возбуждении опасного недовольства и затем рассматривалась судом присяжных из тех же рабовладельцев и их сторонников. Для делового человека, каким был Захария Маколей, несмотря на его молодость, было совершенно ясно, что изменение вест-индских порядков зависело от Англии, от общественного мнения последней, а потому он решил оставить Ямайку и вернулся на родину, к великому изумлению своего отца с его стереотипными воззрениями на рабство.

Решение Захарии, по всей вероятности, было вызвано слухами и вестями о том, что в Англии вопрос об освобождении негров уже назрел в достаточной мере и только требует в ряды своих деятелей людей энергичных и преданных. Борьба действительно начиналась по обе стороны Атлантического океана. В 1775 году, с целью добиться отмены невольничества, в Филадельфии образовалось общество аболиционистов под председательством Франклина. В Англии центральной фигурой этого движения был Уильям Вильберфорс.

Уильям Вильберфорс родился 24 августа 1759 года в Гуле. Единственный сын Роберта Вильберфорса и его жены Елизаветы был слабым, близоруким и низкорослым мальчиком, отличавшимся светлым умом и большой энергией. Юные годы

Уильяма, вплоть до окончания университета, протекли среди впечатлений двоякого рода. Родичи со стороны отца тянули его в область религиозных вопросов, на почву личного совершенства. Влияние матери и ее круга вместе с материальным достатком ставили его в непосредственное столкновение с забавами веселой и рассеянной жизни. Как человек богатый, он повсюду являлся желанным гостем. Как человек прекрасной души, Уильям повсюду приобретал друзей и сторонников, что имело весьма важное значение и сказалось громадным большинством, которое он получил на выборах в нижнюю палату как депутат от Гуля.

Симпатии Вильберфорса влекли его в эту пору в сторону либерализма вплоть до признания французской революции великим актом прогресса. Но в это настроение была вкраплена мысль о необходимости позаботиться о душе, о нравственном совершенствовании человечества, и это казалось ему гораздо более целесообразным, чем заботы о переделке общественных форм. И Вильберфорс на всю жизнь остался двойственным человеком: с перевесом в первую пору – в сторону общественных интересов и в сторону нравственного совершенствования – во вторую. Сама программа деятельности, которую он начертал для себя, носит характер этой двойственности. «Всемогущий Бог, – писал он, – положил передо мной два великих дела: уничтожение невольничества и реформу нравов…» Вопрос о неграх заинтересовал его еще в 1773 году, когда он учился в Поклингтонской школе, а в 1780 году, в письме к своему другу Гордону, Уильям уже просил собрать для него сведения о положении рабов и выражал надежду «уничтожить неправду этого печального и унизительного дела».

Несправедливо было бы, однако, приписывать ему исключительную инициативу в этом вопросе. Это благородное движение имело в своей природе несколько созвучных потоков фокусов, которые с течением времени слились в один и растопили, наконец, ледяную кору равнодушия к человеческим страданиям. Как всегда бывает в таких случаях, первой коснулась этой темы сатира. Потом заговорили с церковной кафедры, хотя это было скорее исключением, чем правилом, – впрочем, не в Англии. В Англии духовенство почти всегда стояло на пути гуманности, и потому его инициатива в вопросе о неграх была в порядке вещей. С кафедры против рабства впервые выступил епископ Портейс в 1783 году, а год спустя появилось исследование Рамзея о положении рабов. Затем, в 1785 году, доктор Пиккер избрал ту же самую тему на соискание премии Кембриджского университета, которую получил Томас Кларксон за сочинение «Исследование о рабстве и торговле невольниками,

главным образом африканской».

В лице Вильберфорса к делу освобождения примкнул политический деятель. Новобранец был самый желанный. Его красноречие обеспечивало наплыв новых сторонников освобождения негров, ожидавших живого и страстного слова, яркого синтеза их неясных и нерешительных симпатий, а дружеская связь не в одной только области бакалейных интересов со знаменитым Питтом открывала доступ в неприступные официальные верхи. В 1792 году произошла первая парламентская битва на почве эмансипации негров. Это было в эпоху французской революции. Вопрос о неграх казался при таких условиях в консервативных кругах и в глазах самого Георга III чем-то вроде ритуального сигнала на волшебных собраниях нечистой силы, вслед за которым должны были появиться на сцене все призраки, переворачивавшие вверх дном государственный строй по ту сторону Ла-Манша. К этому присоединились жалобные вопли вест-индских плантаторов и благочестивые размышления более философичных противников билля об отношении Библии к рабству. Но это была уже роскошь.

Главным аргументом являлись французские события, и потому билль, в 1792 году принятый уже в принципе нижней палатой, в 1793-м – в самый разгар революционной бури – был отвергнут тою же нижней палатой. Через год представители общин несколько оправились и опять приняли первое решение, но лорды стояли на втором.

Чтобы победить это сопротивление, сторонники эмансипации оставили на время парламентскую борьбу и занялись более мирной пропагандой своего дела. Как одно из средств этой пропаганды решено было образовать колонию свободных негров с целью показать, что негры способны к цивилизации и потому заслуживают уважения своей личности. Таким образом возникла колония Сьерра-Леоне на берегу Гвинейского залива – с главным городом Фритауном, – ныне республика того же названия. Захария Маколей был назначен одним из администраторов, а немного спустя – и директором колонии. Дело было в высшей степени трудное. Прежде всего, приходилось бороться с губительным климатом местности, затем – с почти непобедимой косностью негров, воспитанных долгой каторгой невольничества. Нужны были железная воля Захарии Маколея и его безграничная, почти фанатичная преданность задаче, чтобы пробыть в этом аду целых шесть лет. Борьба с недовольством и возмущениями колонистов, администрация с обширной перепиской, школьное дело, проповедничество в церкви – на все это хватало Маколея. Ему приходилось играть роль еще и дипломата, потому что

соседние африканские племена, особенно их торговые представители, смотрели на колонию недоброжелательно, и Маколею нужно было совершать путешествия к этим соседям, чтобы оградить себя от их неприязни. В 1794 году случилось событие еще более печального свойства. К Фритауну прибыла флотилия французских работорговцев под флагом республики и предъявила дирекции требование выдать сбежавший живой груз, будто бы укрывшийся в колонии. Тщетно Маколей уверял капитана флотилии, что никакие беглые негры не укрываются колонией, и напоминал о принципах великой революции – ему отвечали, что эти принципы хороши на берегах Сены, а не в Африке, на берегу Гвинейского залива. Правда, Маколея накормили обедом, – к великому его негодованию, без молитвы, – но колония все-таки пострадала, потому что рассерженные мореплаватели в припадке гнева не пощадили ничего, что поддавалось уничтожению.

«В конторе, – рассказывал Маколей, – все бюро, ящики, полки, а также типографские станки были разрушены в поисках денег. Полы были покрыты рассыпанным шрифтом, бумагами, листами, вырванными из книг, так что труды мои и моих сотрудников за несколько лет совершенно погибли. На городскую библиотеку нельзя было смотреть без сокрушения: повсюду были разбросаны книги, разорванные с каким-то адским неистовством; особенно досталось тем из них, которые по виду походили на Библию. Различные коллекции подверглись столь же незавидной участи. Растения, семена, высушенные птицы, насекомые, рисунки – все это не нашло ни малейшей пощады. Французы рассеялись по домам, рубили, рвали, уничтожали каждую вещь, которая не могла послужить им на пользу, и в то же время стреляли в попадавшихся им на улицах животных…»

Почти через год после этого события Маколей впервые временно уехал в Англию. Этого требовало его здоровье, расшатанное злокачественной лихорадкой. На родине, как один из деятельных ревнителей эмансипации, он был принят самым дружеским образом в кружке Вильберфорса и удостоился чести познакомиться с влиятельной представительницей этого кружка Анной Мор, в Сослип-Грине близ Бристоля. Здесь он встретился с молодой девушкой Селиной Мильс, дочерью весьма почтенного бристольского книгопродавца, один из братьев которой издавал в Бристоле газету и пользовался некоторой известностью в литературном мире. Молодые люди вскоре почувствовали симпатию друг к другу, но друзья Селины рассчитывали на более блестящую для нее партию, а сестра Анны Мор, Патти, совсем отговаривала ее от замужества, очаровывая прелестями

дружеской жизни в Сослип-Грине. Однако дело было улажено при помощи всемогущей Анны Мор – с тем лишь условием, что свадьба состоится по окончательном возвращении Маколея из Африки.

Это возвращение совершилось в 1799 году, после вторичного, почти двухлетнего, пребывания Захарии в Сьерра-Леоне. Распрощавшись с колонией, Маколей не оставил дела, которому начал служить еще на Ямайке, и если, может быть, момент этого прощания был ускорен личными интересами Маколея, то его присутствие в Англии, в самом центре освободительного движения, полне совпадало с интересами этого движения, несомненно выигрывавшего от такой перемены. Сьерра-Леоне нуждалась в рядовых деятелях, в простых исполнителях программы ее основателей; энергия же и преданность идее таких людей, как Маколей, была нужна на боевой линии, у не взятых еще позиций рабовладельцев. Все это оправдалось в самом близком будущем.

Приезд Захарии в Англию устранил последнее препятствие устройству его семейного очага, и 26 августа 1799 года он женился на Селине Мильс. Молодые жили первое время в Ламбете, а когда настала пора родов, перебрались в Ротлей-Темпль в Лестершире. Здесь, в небольшой комнате с дубовой обшивкой, почерневшей от времени, вместо обоев, с видом на парк с востока и на небольшой садик с юга, 25 октября 1800 года родился первый и последний в роду Маколеев – Томас Бабингтон Маколей.

Ребенок очень рано обнаружил все признаки замечательного ума. В три года он почти не разлучался с книгой. Он проводил за ней целые часы, лежа на ковре перед камином с бутербродом в руке. Еда совмещалась с чтением – лучшее доказательство, что чтение уже захватывало его со всей силой. И так было постоянно, как можно видеть из ответа Тома на замечание матери, что наступает время учения в школе и основательных занятий. «Обещаю тебе, – сказал он, – что отныне прилежание будет моим хлебом и внимание – маслом». Игры его не интересовали. Его голова постоянно была занята прочитанным или собственными фантазиями о прочитанном. Экономка и мать были вечными слушательницами этих импровизаций, пересыпанных «печатными словами». Первым чтением его, по выбору родителей, были книги духовного содержания, а затем, по выбору самого ребенка – «Потерянный рай» Мильтона, «Странствия пилигрима» Беньяна, Вальтер Скотт и все, что давало работу его воображению, богатому уже в эту раннюю пору. Он постоянно жил в мире вымыслов, аллегорических фигур, деяний прошлого, и любое

внешнее движение находило в нем мгновенный отклик, подобно лучу солнца, упавшему на богатую почву, полную жизненных зародышей… Один знакомый напоминал ему лицом Моисея, второй – Олоферна, третий – Мельхиседека, четвертый, с угрюмой наружностью, – апокалиптического зверя.

В восемь лет Маколей сочинял и строил недетские планы. «Мой милый Том, – писала об этом его мать, – обнаруживает признаки замечательного ума. Он одинаково успешно занимается разными предметами и приобрел уже такую массу сведений, что, если принять в расчет его возраст, это поистине поразительно. Привожу здесь несколько примеров, чтобы дать понятие о его умственных способностях. Год тому назад пришло ему в голову написать краткий очерк всеобщей истории – и действительно, он сумел довольно толково изложить связь между событиями от сотворения мира до настоящего времени. Он сказал мне однажды, что написал сочинение, которое Генри Дель переведет на малабарское наречие и которое имеет целью склонить население Транковара к принятию христианства. Прочитав это писание, я убедилась, что оно содержит довольно ясное понятие об основных истинах христианской религии и несколько серьезных аргументов в пользу ее превосходства над другими. Под влиянием Вальтера Скотта он задумал написать поэму в шести песнях, которую озаглавил „Битва при Чивиоте“. Окончив в два дня три песни – каждая в 120 стихов, – Том остановился, но, без сомнения, довел бы до конца свой труд, не приди ему в то же время мысль сочинить другую поэму, об Олафе Великом, в которую, по примеру Вергилия, он хотел вставить пророческую песнь о судьбах своего семейства».

Школьное учение юного Маколея началось в 1813 году и продолжалось пять лет в известном тогда пансионе Престона в Шельфорде близ Кембриджа. Любимыми его предметами были история и литература, зато математика приводила Тома в отчаяние своей сухой недоступностью и навсегда осталась ахиллесовой пятой его знаний. У Престона он жил на полном содержании, дома появлялся только наездом и восполнял недостаток свиданий с родными довольно деятельной перепиской. Весьма характерная черта этой переписки – живейший интерес к событиям дня. Как большинство учебных заведений на всех меридианах, школа Престона отнюдь не была повинна в возбуждении этого интереса. Совсем напротив. В ее стенах эти интересы появлялись только контрабандой и, конечно, не всегда удачно исправляли в таком виде недостатки официальной программы. Впрочем, если мистер Престон имел обыкновение цензурировать корреспонденцию своих питомцев, он

не нашел бы ничего предосудительного в адресованных Маколею письмах, а ответы последнего лишь удивили бы его своим недетским характером. Этот характер был отражением традиционной черты фамилии Маколеев – постоянного интереса ее представителей, с той или другой точки зрения, к событиям общественной и государственной жизни. И стоит только представить себе Захарию Маколея, вечно занятого секретаря «Противоневольнического общества», редактора журнала этого общества «Христианский наблюдатель», автора отдельных брошюр все по тому же вопросу освобождения рабов, неутомимого корреспондента целой группы выдающихся деятелей Англии и Франции, чтобы понять, какие беседы велись в скромных апартаментах этого гуманиста. Юные годы Тома протекали в самый разгар аболиционистского движения. Семейная обстановка этих лет получила при таких условиях характер какой-то главной квартиры на театре военных действий, с ее непрерывной чередой то радостных, то печальных известий, с пестрой сменой физиономий посетителей, бесконечных дебатов, с приливом и отливом брошюр, бумаг и писем.

«Я помню Вильберфорса, – рассказывал впоследствии Маколей, – почти с колыбели. Его чудный голос давно звучал в моих ушах. Этого человека, бывало, слушаешь, как певицу».

Очевидно, ребенка не устраняли от разговоров старших, и мало-помалу он тоже стал принимать участие в семейных дебатах и в делах, вызывавших эти дебаты.

«Милый папа, – писал однажды четырнадцатилетний участник дебатов, – так как в понедельник мне будет недосуг взяться за перо, ибо у нас назначены экзамены, то я отвечаю сегодня на Ваше длинное и милое письмо. Я в восторге от того, что общество принимает столь горячее участие в вопросе о распространении христианской религии в Индии. Шотландская кровь заговорила во мне при вести, что в одном только сельском приходе 1750 лиц подписались под прошением по этому поводу. Спросите мамашу и Селину, соглашаются ли они, наконец, *с моим мнением,* что шотландское сельское население гораздо выше английского…»

В 1818 году Маколей поступил в Троицкую коллегию Кембриджского университета. С этих пор начинает рушиться его взаимопонимание с семьей. Кружок Вильберфорса, с которым вполне был солидарен бывший директор колонии Сьерра-Леоне, отличался в эту пору строго консервативным складом во всем, что не касалось рабства. А между тем, подобно христианской морали, заставившей Захарию разойтись с семейными воззрениями и стать в ряды освободителей негров, близость к

этим освободителям, в свою очередь, заставила его сына примкнуть к либералам. Это было вполне естественно и вполне логично. Данные, которыми пользовались аболиционисты, воздействуя на общество и вызывая его сочувствие к неграм, картины тяжелого положения рабов и жестокостей плантаторов, совершенно неожиданно для агитаторов кружка Вильберфорса, гармонировали с мрачным эхом английской жизни в ее измученных низах. В воображении гуманиста на смену неграм и плантаторам появлялись при этом белые рабы и их владыки, и сердце наполнялось жаждой нового освобождения, не менее сильного, чем жажда аболиционистов. Это именно настроение переживал Маколей в стенах Кембриджского университета, а дружба с коллегой Чарлзом Остином, восторженным поклонником республиканских учреждений Соединенных Штатов, окончательно решила исход настроения. Дома ничего не подозревали об этом. Учение шло своим порядком с выдающимся успехом, а в ногу с ним, то есть в духе семьи, предполагалось, маршировали и политические воззрения Тома.

Разочарование было полным, когда настали события, известные под названием «Питерлоо». Еще в конце XVIII века экономическое и политическое положение Англии вызывало опасения вверху и недовольство снизу. Борьба с Наполеоном временно отвлекла внимание общества, но когда она окончилась, зло обнаружилось лишь в более ужасном виде. Торговля была подорвана и находилась в застое, налоги достигали неслыханных размеров, народ бедствовал и голодал. Между тем представительная система государства не давала никакой возможности, или только случайную и слабую, облегчить законодательным путем положение большинства населения, напротив – заранее гарантировала преобладание немногих над прочими. Необходимость парламентской реформы с целью расширения избирательного права и отмены хлебных законов как первого средства уврачевать зло ближайшей минуты сознавалась всеми, и потому, когда в 1819 году была назначена сходка по этому поводу в местечке Сент-Питерсфилде близ Манчестера, на нее собралось до восьмидесяти тысяч человек. Распорядители сходки позаботились, чтобы никто не явился на нее с оружием, дабы все имело вполне мирный характер, и это было исполнено, но как только радикальный оратор Гонт взошел на трибуну, на площадь вступили отряды конницы и стали разгонять манифестантов оружием. Шесть человек было убито, более шестидесяти – тяжело ранено, из них – несколько женщин, – в этом и состояла «битва при Питерлоо», как называли ее по аналогии с Ватерлооским сражением. Однако остроумными

сравнениями дело не ограничилось. Весть о подавлении «беспорядков» охватила негодованием всю Англию, где только чувствовали интерес к событиям дня, чуждый бездушного консерватизма. Далеко не либеральный лондонский Сити подал адрес, то же сделали Бристоль, Ливерпуль, Ноттингем и Йорк.

Но момент еще не созрел, и тори, стоявшие у власти, довольно спокойно оправдывали свои меры и продолжали подавлять недовольство, оставляя без внимания представления общества. На их стороне были также симпатии аболиционистов и самого главы их – Вильберфорса. «Резкая черта, отделяющая нас от либералов, – говорил при этом последний, – заключается в том, что они слишком много обращают внимания на мирские заботы, исключительно ими питают ум и сердце народа, отвлекая его помыслы от небесных благ…» Для Захарии Маколея и его жены эти слова были самой истиной, и потому можно представить себе их недовольство, когда они узнали, что сын на стороне «бунтовщиков». В Кембридж полетели громоносные письма, но юный радикал оставался при прежнем мнении.

«Напрасно, – писал он отцу, – нежная заботливость моей милой матушки заставляет ее причислять меня к поборникам анархии. Мнения мои, хороши они или дурны, заимствованы не из Гонта и Уйсмана (главы радикалов), а из Цицерона, Тацита и Мильтона. Эти мнения принадлежат людям, служившим украшением общества и искупившим человеческую природу от нравственного упадка, на который она была осуждена целыми веками суеверия и рабства. Быть может, события в Манчестере произошли не так, как мне известно, но если они были таковы, как рассказывают, то я не могу говорить о них без чувства негодования. Если когда-нибудь я сделаюсь равнодушен к людским страданиям, перестану ненавидеть дикую жестокость и не буду негодовать против гнета, то сочту себя недостойным называться вашим сыном…»

# Глава II. Первые произведения и речи

***На перепутье. – Подготовка к адвокатуре. – Увлечение литературой. – Недовольство семьи. – Домашняя цензура. – Статья «О королевском литературном обществе». – Общий характер первых произведений Маколея. – Речь о невольничестве. – Впечатление от речи. – «Эдинбургское обозрение». – Статья о Мильтоне. – Мнение Маколея о Карле I и английской революции, – Стиль Маколея. – Завоевание читателей. – Покровительство лорда Ландсдауна. – Маколей – депутат от «гнилого местечка»***

В 1822 году Маколей закончил университетское образование. Он навсегда сохранил прекрасные воспоминания о своей alma mater, и не потому только, что над этим прошлым, по выражению Писарева, сияли кротким светом золотые медали как дань превосходству его сочинений на премию.

Что начать, чему посвятить свою деятельность – на эти вопросы у него не было еще в эту пору определенных ответов. Первое время он склонялся в пользу адвокатуры. Сюда влекло его природное красноречие и главным образом желание родителей, и он действительно записался в знаменитую практическую школу юристов, Lincoln's Inn. В 1826 году Маколей был принят в корпорацию адвокатов, но никогда не выступал ни в одном процессе. Его не тянуло на это поприще. Среди забот о приобретении юридического навыка он начал посвящать свое время литературным занятиям и не замедлил увидеть, что это именно та почва, на которой суждено обнаружиться его талантам. В 1823 году некто Найт основал новый журнал «Трехмесячное обозрение» (Knight's Quarterly Magazine), и Маколей принял участие в этом издании как самый выдающийся сотрудник.

Подобно его либеральным симпатиям, литературные дебюты его не обошлись без новых пререканий с семьей и взаимного недовольства. Эта семья не была чужда своего рода доброжелательного деспотизма, и ее деспотизм не преминул сказаться в отношении первых произведений Маколея. Материальное положение семейства было далеко не блестящее. Юный Маколей часто нуждался в самом необходимом и никогда, вероятно, не ценил так высоко своих медалей, как в ту именно пору, когда закладывал их у ростовщиков. Все это было причиной родственных побуждений скорее стать на ноги и потому заняться адвокатурой. Литературная деятельность не казалась надежной

профессией. Юношеские поэмы вызывали сочувствие родителей Маколея, пока они были учебным делом и венчались золотыми медалями, этим залогом дальнейших успехов, но как постоянное занятие литература сейчас же оказалась в немилости у Захарии – отчасти потому, что молодой писатель обнаруживал настроение, несогласное с семейными воззрениями. Над ним была учреждена как бы домашняя цензура, и, прежде чем появиться в «Трехмесячном обозрении», произведения Маколея подвергались двойному надзору со стороны отца и матери и, как правило, не получали одобрения. Особенно не понравились Захарии две поэмы сына, подписанные псевдонимом «Тристрам Мартон», слишком вольного характера в глазах благочестивого аболициониста и совершенно невинных в разряде тех, в которых когда-либо трактовались любовные истории. В письмах Маколея сохранился характерный образчик подобных столкновений с домашним управлением по делам печати.

«Дорогой отец, – писал он 9 июля 1823 года, то есть в самом начале своей журнальной деятельности, – я видел два последних письма, адресованных тобой матушке. Они глубоко огорчили меня, хотя не дали повода к угрызениям совести. Не чувствую ничего дурного за собою, и все мое беспокойство в сочувствии к твоему горю. Как видно, ты предполагаешь, что книга издана или написана, главным образом, моими друзьями. Я думал, тебе известно, что дело ведется в Лондоне и что мои друзья и я сам – только сотрудники, и притом лишь малая часть сотрудников. Приемы почти всех моих знакомых настолько чужды грубости, а их нравственность – свободомыслия, что не такого рода замечания могут вызвать их работы. Что касается моих собственных работ, то я могу только сказать, что романическая история прежде напечатания была прочитана матушке и была бы прочитана тебе, будь ты дома в то время. Ни одна цензурная урезка не попала в журнал. Что же касается статьи „О королевском литературном обществе“, то она читалась тобой, и в ней были сделаны изменения, которые казались мне желательными для тебя, и после рассмотрены матушкой…»

Статья «О королевском литературном обществе», заслужившая порицание Захарии, представляет собой не лишенную сарказма сатиру на претензии подобных учреждений содействовать расцвету литературы. В глазах Маколея, это были планы «для насильственной обработки бесплодной умственной почвы, для вынуждения посредством щедрот, поэтической жатвы из почвы слишком тощей, чтобы производить естественным путем какие-либо плоды». В виде иллюстрации он рассказывает в заключение историю королевского винного общества в царстве

Гомера Хефораода. Все шло благополучно в этом царстве. Как вдруг несколько пьяниц предложили правителю учредить королевское винное общество для поощрения виноделия. Мысль понравилась Гомеру, потому что ему нравилось все, что могло осчастливить вавилонян, так как дело происходило в Вавилонии. Назначили премию: десять ослиц, десять рабов и десять перемен одежды тому, кто доставит десять мер самого лучшего вина. Вино действительно поступало на экспертизу, но с каждым разом все хуже и хуже. Доложили Гомеру. Он удивился: что за причина? И стал расспрашивать сведущих людей. Первосвященник объяснил печальное событие появлением секты людей, которые ели голубей вареными, тогда как их следует есть жареными. Но это объяснение оказалось неудовлетворительным, потому что хорошее вино все-таки существовало и не проходило мимо губ первосвященника. Истина была указана стариком философом. Он объяснил, что владельцам хорошего вина нет расчета гоняться за нестоящей премией и что вино присылается людьми, «которых земли тощи и никогда не приносили дохода, равного обещанной царем награде». Таким образом, по мнению юного философа Маколея, королевское литературное общество ожидала судьба его собрата – вавилонского винного общества.

Сатирическая черта всегда сказывалась в произведениях Маколея – но в первых из них она часто главенствует, – часто, а не всегда, потому что другая особенность этих первых произведений – разнообразие сюжетов. Он писал стихотворения, картины древнеримской и древнегреческой жизни, критические этюды о Данте и Петрарке и, наконец, сатиры. «Отчет о великой тяжбе между общинами Сен-Дени и Сен-Джорж в воде», написанный в 1824 году, – самая характерная из числа последних. Общины Сен-Дени и Сен-Джорж – это Франция и Англия. История тяжбы – это история Европы от начала французской революции до женитьбы Наполеона (Нэпа). Маколей написал только первую часть «Отчета», но этого вполне достаточно, чтобы судить о взглядах двадцатилетнего писателя. Он, безусловно, сочувствовал революции и, что было особенно важно, относился отрицательно к политическому положению Англии. В этом были основательные причины его разлада с отцом, как другом и сторонником Вильберфорса. Впрочем, разлад их никогда не выходил за пределы идейного несогласия, да и в этой сфере у обоих были общие симпатии и антипатии – освобождение негров и борьба с рабовладельцами. Молодой Маколей даже писал однажды в «Трехмесячном обозрении» о положении негров в Вест-Индии, хотя эта статья совсем не гармонировала с общим содержанием издания. Это был отчасти

политический маневр с целью расположить отца в пользу журнала и смягчить домашнюю цензуру.

Захарии, естественно, хотелось видеть сына борцом за дорогое ему дело, и он не замедлил ввести его в кружок аболиционистов, на заседания «Противоневольнического общества». На годовом собрании этого общества, под председательством герцога Глостерского, 25 июня 1824 года, Маколей произнес речь о невольничестве в колониях. Момент был горячий. В колониях жестоко подавлялись волнения негров, и деспотизм плантаторов переходил всякие границы. Деспотизм и рабство… этого было слишком достаточно, чтобы вызвать красноречие Маколея. Впрочем, как искусный, хотя юный, оратор, он начал очень скромно. Он извинился перед собранием, что выступает с речью, но, если старые борцы оставят славное дело неоконченным, оно «не должно иметь недостатка в новых защитниках и даже, если нужно, в мучениках». Оратор обратился затем к противникам освобождения. Они говорят, что положение негров – предмет славы британского имени и зависти британских крестьян. Зло невольничества только в теории, на деле это – величайшее благо. Но почему же они просят не возбуждать страсти?..

«Не нужно особенно искусного толмача, – говорил Маколей, – чтоб объяснить этот страх самосознанием тирании. Что приходится думать о системе, которой, по словам ее защитников, нельзя касаться без того, чтобы не возбудить мятеж? Что должны мы думать о системе, при которой восстания – опять-таки по показаниям ее защитников – не могут быть подавлены без резни?.. Когда я вижу учреждение, – продолжал оратор, – которое трепещет при всяком дуновении, которое держится только неусыпной подозрительностью, клеветой, позорным преследованием, ложными свидетельствами, превратным толкованием закона, мне не нужно дальнейших доводов и оснований, чтобы убедиться, что оно так же безобразно, как средства, на которые опирается…»

Жестокость системы Маколей допускал заранее, как прямое следствие безграничной власти, – иначе, по его мнению, «опыт – ложен, человеческая природа – бессмысленна, история – басня, государственная наука – пустая болтовня, мудрость наших предков – безумие, а британская конституция – пустое название! Остается разломать на дрова скамьи в нижней палате и разрезать на азбуку Великую хартию… Вся история Англии, – говорил он в заключение, – свидетельствует о благодетельном действии свободы и просвещения, и те, кто пользуется этой свободой и просвещением, должны поделиться этими благами с

невольниками. Пусть вражда ополчается на нас – торжество свободы неизбежно, надо только бороться. Когда крестоносец у Тассо поднимает свой меч, чтобы разрушить чары заколдованного леса, его окружают гигантские фигуры, страшные голоса угрожают ему, ветер воет, небо хмурится и земля трепещет под его ногами. Но удар нанесен – и снова сияет солнце, буря улеглась, и демоны с воплем улетают от места, которое не смеют долее осквернять своим присутствием…»

Речь Маколея произвела впечатление не в одной только среде аболиционистов. Вместе с другой его речью, – в «Соединенном совещательном обществе» (Union Debating Society), о предоставлении политических прав католикам и диссентерам, – она была справедливо признана целой программой в либеральных кружках Англии. Редактор «Эдинбургского обозрения», органа вигов, характеризовал ее как образчик замечательного ораторского искусства, тем более удивительный, что он принадлежал человеку, впервые выступавшему перед публичным собранием. Фрэнсис Джеффрей пользовался репутацией сурового критика, а потому его отзыв имел весьма важное значение. Оценив дарование Маколея, редактор «Эдинбургского обозрения» решил, кроме того, фактически привлечь на сторону вигов восходящую звезду литературы и предложил юному либералу написать этюд о Мильтоне.

Выбор темы был чрезвычайно удачен. Мильтону с юных дней принадлежали симпатии Маколея. Совсем ребенок, в тринадцать лет он написал «послание» к автору «Потерянного рая». В школьный период в нем он черпал начала своего либерализма как борьбы со всяким гнетом. В первых своих серьезных работах он посвятил Мильтону два этюда: художественной оценке его – первый этюд об итальянских писателях, его политическим воззрениям – прекрасный по выдержке и ясности «Разговор между Авраамом Коули и Джоном Мильтоном о междоусобной войне». Напечатанная в 1825 году в «Эдинбургском обозрении» статья о Мильтоне была только переработанным соединением в одно этих последних произведений.

В «Биографической библиотеке» автору «Потерянного рая» посвящается отдельная книжка, и здесь нет надобности говорить о статье Маколея, поскольку она касается Мильтона как писателя. Но данная в ней характеристика политических воззрений последнего имеет весьма важное значение для характеристики Маколея в том же отношении. Новый сотрудник Джеффрея с замечательной ясностью установил в этом этюде свой взгляд на английскую революцию XVII века и никогда впоследствии не отказывался от этого взгляда. «Общественное поведение

Мильтона, – говорит он здесь, – следует одобрить или осудить – смотря по тому, признаем ли мы сопротивление народа Карлу I делом законным или преступным». В известном «Разговоре» решение этого вопроса вытекало из препирательств Коули, для которого английская революция была потопом, смывшим все следы райского сада, с Мильтоном, для которого тот же потоп был плодотворным разлитием Нила. В лице Коули, писателя XVII века, Маколей считался с историческим сентиментализмом с его вздохами о прекрасном прошлом и ужасом перед крайностями революций. Для этих людей Карл I был мученик, добродетельный человек, смятый напором новых вандалов, более гнусных в новой исторической обстановке.

«Адвокаты Карла, – отвечал на это Маколей в статье о Мильтоне в 1825 году, – подобно адвокатам прочих злодеев, уличаемых неотразимой очевидностью, обыкновенно избегают всякой полемики о фактах и довольствуются показаниями о характере подсудимого. Он отличался столькими частными добродетелями! А разве Яков II не отличался частными добродетелями? Разве Оливер Кромвель – пусть будут судьями злейшие его враги – не имел частных добродетелей? Да, наконец, какие добродетели приписываются Карлу? Религиозность, искренностью не превосходившая, а слабостью и узостью совершенно равнявшаяся религиозности его сына. Да несколько дюжинных семейных качеств, какие приписываются половиной надгробных камней в Англии лежащим под ним покойникам. Добрый отец… Добрый супруг!.. Действительно, полное оправдание пятнадцати лет преследования, тирании и криводушия. Мы виним его в том, что он изменил коронационной присяге, а нам говорят, что он был верен супружескому обету! Мы обвиняем его в том, что он предал свой народ в безжалостные руки самых рьяных и жестокосердных прелатов, а защитники отвечают, что он брал к себе на колени и целовал своего маленького сына! Мы осуждаем его за то, что он, обязавшись, за хорошее и ценное вознаграждение, соблюдать статьи Прошения о праве, нарушил их, а нам объявляют, что он имел обыкновение слушать молебен в 6 часов утра!.. Что касается нас, мы, признаемся, не понимаем обычного выражения: хороший человек, но дурной король. Для нас оно так же удобопонятно, как выражения: хороший человек, но бесчеловечный отец, или хороший человек, но вероломный друг. При оценке характера какого-нибудь лица мы не можем оставить без внимания его поведения в важнейшем из всех человеческих, отношений, и если в этом отношении найдем его себялюбивым, жестоким и лживым, то смело назовем его дурным человеком, несмотря на всю его

умеренность за столом и на всю его аккуратность в церкви…»

Маколей признавал неистовства революционеров. Было бы лучше, если бы их не было, но раз они были, он признавал их «ценой» английской свободы и спрашивал только: «Стоило ли приобретение такой жертвы?» Самые неистовства революционеров были, в его глазах, естественным следствием того, на что обрушивалась их нечеловеческая ярость. «Если бы народ, – говорил он, – выросший под игом нетерпимости и произвола, мог свергнуть это иго без помощи жестокостей и безумств, половина возражений против деспотической власти устранилась бы сама собой. В таком случае мы были бы вынуждены признать, что деспотизм по крайней мере не имеет пагубного влияния на умственный характер нации. Мы оплакиваем насилия, сопровождающие революции. Но неистовство этих насилий всегда будет пропорционально свирепости и невежеству народа, а свирепость и невежество народа будут пропорциональны притеснению и унижению, под гнетом которых привык он проводить свою жизнь. Так было и в нашей междоусобной войне. Владыки церкви и государства пожали только то, что посеяли. Правительство запрещало свободные прения. Оно употребляло все средства к тому, чтобы народ не знал ни прав своих, ни обязанностей… Если наши правители пострадали от народного невежества, то это потому, что сами они отняли у народа ключ знания. Если народ нападал на них со слепой яростью, то это потому, что они требовали от него столь же слепой покорности…»

Этюд о Мильтоне был началом целого ряда других столь же блестящих этюдов, известных под названием «опытов», или эссе (Essays). Блестящий слог, то краткий, то разливающийся мерными периодами, неожиданные, но меткие характеристики и сравнения, например сравнение Мильтона с Данте и Эсхилом, уменье из сухого и необработанного материала извлечь изюминку – все это сразу привлекло к Маколею восторг читателей «Эдинбургского обозрения» и никогда уже не теряло своей притягательной силы. Скромные сотрудники «Трехмесячника» Найта недаром сожалели о потере блестящего коллеги, а домашнее управление по делам печати прекратило свою деятельность после этюда о Мильтоне.

Оставалось одно темное облако на просветлевшем горизонте Маколеев. Материальное положение семьи все еще было затруднительно, но двуликая судьба, казалось, навсегда повернула к Томасу свое улыбающееся лицо. За торжеством над строгостью Джеффрея, за пожизненным пленением читателей последовало завоевание симпатии «Нестора» партии вигов, лорда

Ландсдауна. Почтенный покровитель молодых талантов представил Маколея избирателям своего «гнилого местечка» Кальна, и в 1830 году Маколей сделался членом парламента. Вильберфорс видел в этом награду Захарии за его добродетель, а страна справедливо, в лице либералов, считала это ручательством за свои интересы.

# Глава III. Маколей – государственный человек

***Первая речь о евреях. – Отношение палаты. – Вторая речь о евреях. – Парламентская реформа. – Мнение Веллингтона. – Министерство Грея. – Билль о парламентской реформе. – Речь Роберта Пиля. – Раскол в рядах вигов. – Речь Маколея. – Историческая минута. – Билль в палате лордов. – Маколей – депутат от Лидса. – Ораторское искусство Маколея. – Назначение в Ост-Индию. – Переезд. – Положение Индии до Маколея. – Два лагеря реформаторов. – Взгляд Маколея. – Исторические ссылки. – Заботы о просвещении. – Связь мероприятий Маколея с его основными воззрениями. Судебная реформа. – Характеристика, оппозиции. – Уложение законов. – Достоинства и недостатки труда. – Отдельное мнение сведущего человека. – Тоска по родине. – Отъезд. – Смерть Захарии. – Утомление Маколея. – Отречение от политики. – Путешествие. – Переписка с Мельборном.***

Первый парламентский дебют Маколея состоялся 5 апреля 1830 года по вопросу об уравнении в правах евреев. По словам оратора, принципиальные сторонники терпимости должны были высказаться за это, потому что в данном случае не было причин нарушать им свое profession de foi, как они допускали это в деле уравнения в правах католиков.

Католиков обвиняют в политических происках, в поисках прозелитов, в терпимости лишь по бессилию. На евреев этого обвинения распространить нельзя. «Относительно евреев история Англии показывает нечто совершенно противоположное. Она представляет, – говорил Маколей, – перечень угнетений и несправедливостей, которые претерпел этот народ без малейшей попытки возмездия. С начала до конца мы видим ряд гнуснейших жестокостей и лишений, перенесенных евреями ради своей веры». С этой точки зрения Маколею казалось несправедливым отказывать евреям в политических правах на том же основании, как католикам. Это значило бы, по его мнению, одинаково осуждать «равносильного и слабого, пылкого и терпеливого, пропагандиста и человека, чуждого всякой пропаганды, политика и человека религиозного».

Противники уравнения в правах евреев говорили, что евреи более привязаны к своему племени, чем к английскому народу, и что в этом одно из препятствий к наделению их политическими правами. Маколей считал недоказанным подобное утверждение.

По его мнению, оно могло только следовать *за* признанием правоспособности евреев, а не предшествовать ему на основании одних предположений. С ним соглашались. Пусть откроют евреям, говорили антисемиты, доступ в нижнюю палату, но тогда они переполнят ее, и представительная система сделается ненавистной народу и рухнет. Таким образом, евреи, появившись на скамьях нижней палаты, должны были обнаружить недостатки избирательной системы. Но отсюда следовало для Маколея только то, что эта система неудовлетворительна и что нужно изменить ее, как можно скорее разделаться с ней, а не спасать устранением евреев. В противном случае и этот довод антисемитов вместе с другими их доводами считался Маколеем продолжением прежнего гонения на евреев, которое оратор, в отличие от последнего, соглашался называть «нежным», но все-таки гонением. Его красноречие оказало свое действие. Палата приняла в первом чтении билль о правоспособности евреев большинством голосов: 115 против 97, но спустя месяц это решение было отвергнуто, и через три года Маколею снова пришлось говорить по тому же вопросу.

Во второй раз он подробно остановился на том, что называл «нежным» гонением евреев. Антисемиты считали гонением повесить еврея, бичевать его, ломать ему зубы, подвергать заключению, обирать, устранение от общественных должностей они исключали из этого списка, «потому что, – говорили они, – никто не имеет права на должности». Эти должности даются по благосклонности, и 25 тысяч евреев столь же имеют права роптать, не получая назначений, как 25 миллионов христиан, не имеющих места. «Таким образом, – отвечал Маколей собственнику этого мнения, – многоуважаемый друг мой убедил себя, что так как весьма нелепо было бы, с его или с моей стороны, сказать, что мы обижены тем, что мы не государственные секретари, то и весьма неблагоразумно со стороны евреев утверждать, что они обижены тем, что они удалены от общественных должностей». Отсюда прямой вывод, по словам Маколея, что справедливо было бы требовать от кандидата на должность судьи непременно 12 тонн весу, от кандидата в члены парламента непременно 6 футов роста и лишить окончивших Оксфордский университет права на должность ост-индского генерал-губернатора или губернатора. В противном случае антисемиты должны согласиться, что общественные должности не могут подвергаться случайным правилам и произволу.

Когда же Маколея спрашивали, где он намерен остановиться в своих либеральных стремлениях, не допустит ли он вслед за

евреем в члены парламента магометанина или индуса, поклоняющегося семиголовому идолу, он отвечал тоже вопросом: где намерены остановиться его противники? «Согласны ли они, – спрашивал он, – жечь неверующих медленным огнем? Если нет, то пускай скажут причины, и я докажу, что их причины так же действительны в отношении нетерпимости, которую они считают *справедливой,* как и в отношении нетерпимости, которую считают *преступной».* Для Маколея *всякое* стеснение было преследованием, и лучшее доказательство этой точки зрения он находил в том, что сторонники «нежного» гонения никогда не согласятся подвергнуться защищаемым ими ограничениям. Он не считал чудовищным зрелище еврея, разбирающего дело христианина о богохульстве, потому что наказание налагается в данном случае не за различие, а за оскорбление мнений; он отказывался принять к сведению предсказание Библии о вечном скитании евреев как доказательство в пользу политического неравенства их, потому что в Соединенных Штатах евреи пользуются всеми правами, и, следовательно, пророчество ложно, но так как оно не может быть ложно, то его не так понимают. Евреи ожидают, говорили ему, великого избавителя, возобновления храмов и возрождения веры, и потому Англия всегда будет для них не отечеством, а местом изгнания. Маколей говорил на это, что и среди христиан существуют секты, ожидающие в будущем воцарения на земле Иисуса, однако никому не приходит в голову лишать их прав наравне с евреями. Наконец, ему указывали на нравственные стороны евреев: это низкое, скупое и сребролюбивое племя, чуждое всякого благородного стремления, всяких возвышенных чувств, всего, что не касается денег. «Таково, милостивый государь, – отвечал противнику Маколей, – было всегда рассуждение ханжей. Они никогда не упускали случая привести в оправдание гонения те пороки, которые им же порождены. Англия была для евреев менее, нежели полуотечеством, а мы презираем их за то, что они не чувствуют к ней более, чем полупатриотизм».

Самой блестящей порой в политической деятельности Маколея было время, когда он принимал участие в дебатах о парламентской реформе. Вопрос об этой реформе давно привлекал к себе его внимание и симпатии, но пока продолжалось царствование Георга III, сторонники преобразований не имели возможности обсудить его в парламенте. Застава была снята при наследнике Георга Вильгельме IV, среди всеобщего возбуждения, доходившего до враждебных правительству демонстраций. 2 ноября 1830 года лорд Грей внес в палату общин билль о парламентской реформе.

Тори были еще у власти с главой министерства Веллингтоном. «Что касается меня, – сказал Веллингтон, когда начались дебаты о билле, – то я не знаю системы народного представительства, которая по достоинствам своим могла бы сравниться с существующей ныне. Эта система вполне заслуженно пользуется доверием нации. Скажу более: если бы на меня была возложена обязанность начертать конституцию для какой-либо другой страны, особенно же для страны, обладающей, подобно Англии, громадными богатствами различного рода, то едва ли удалось бы мне изобрести что-нибудь лучше того, чем мы обладаем теперь. Ясно из этого, что министерство отнюдь не расположено оказать поддержку предложению благородного лорда. Оно не только не выразит ему сочувствия, но сочтет долгом противиться ему всеми средствами, которые находятся в его власти». Хотя Веллингтон говорил о доверии нации, будто бы обеспеченном за противниками билля, тем не менее ему не пришлось защищать свои взгляды в роли министра, потому что он и его товарищи должны были уступить свое место министерству вигов лорда Грея.

При таких обстоятельствах прения о билле возобновились 1 марта 1830 года. В дебатах приняли участие лучшие ораторы Англии: сэр Роберт Пиль выступал за сохранение прежних порядков, Маколей – за реформу. Пиль предостерегал от увлечений. В английском либеральном движении он видел волнение, принесенное ветром с французского берега, и, хотя признавал законность Июльской революции, все-таки отговаривал от подражания французам во имя счастия нации и успехов промышленности и торговли. «Не увлекайтесь, – говорил он, – этим мгновенным движением и не берите его своим единственным путеводителем. Все, чего прошу у вас, это обождать с обсуждением столь важного вопроса. Когда английскому народу возвратится его ясный здравый смысл, он упрекнет вас за пожертвование конституцией страны взрыву народных желаний… Если билль, внесенный министрами, – продолжал оратор оппозиции, – будет принят, он создаст в нашей среде самый худший и самый гнусный вид деспотизма – деспотизм демагогов и журналистов, тот именно деспотизм, который привел на край пропасти соседние страны, когда-то счастливые и цветущие…»

Необходимо заметить, что даже среди вигов находились люди, разделявшие опасения Пиля. «Положение обществ, – писал один из них к Гизо, – с давнего времени влечет народы Западной Европы по пути к демократии. Это плод распределения богатств и просвещения. Но я не вижу надобности ускорять в социальном

строе перемену, которую можно регулировать посредством законов и которая, будучи введена постепенно, не сопровождалась бы злом, боюсь, теперь неизбежным». Что касается Маколея, то он видел опасность не в принятии билля, а, напротив, в желании отвергнуть его. Исторический опыт той именно страны, примером которой Пиль предостерегал от увлечений, говорил Маколею, что все несчастие этого образца и заключалось в несвоевременных уступках жизни. Там тоже всё откладывали, в надежде на регулирующую силу законов, в заботах о благе семьи и процветании торговли, – и чем же кончилась кампания против жизни?..

«Неужели лорды, – говорил Маколей, – никогда не посещали соседней страны, представляющей взгляду даже проезжего иностранца признаки великого разложения и обновления общества? Неужели они никогда не проходили вдоль безмолвных улиц Сен-Жерменского предместья и не видели величественных палат, теперь приходящих в упадок и раздробленных на малые квартиры? Неужели они никогда не видели развалин тех замков, террасы которых висят над Луарой?.. Оглянитесь кругом – и вы убедитесь, что все предвещает неизбежное поражение людям, которые упорствуют в бесплодной борьбе против требований времени. Еще недавно рушился один из знаменитейших престолов в Европе. Под кровлей английского дворца нашел себе пристанище потомок целого поколения королей. Повсюду рушатся старинные учреждения, и общество объято смутой. Именно теперь, когда сердцевина Англии еще не тронута, когда вековые учреждения наши еще не утратили прежнего обаяния, старайтесь проникнуться не предрассудками, не духом партии, не ложной гордостью, которая отвращает вас от уступок, а внушениями разума, истории, примерами минувших столетий. Даруйте новую жизнь стране. Спасите собственность, в среде которой произошел раскол. Спасите низшие классы народонаселения, преданные в жертву необузданным страстям. Спасите аристократию, могущую утратить свою популярность. Спасите одно из самых великих, цивилизованных и благоустроенных обществ от бедствий, которые в короткое время способны потрясти все это богатое наследие стольких веков и славы. Опасность громадна, и надо спешить отвратить ее. Если билль будет отвергнут, то я молю Бога, чтобы никто из вас не стал горько и тщетно раскаиваться в своем поступке среди разгрома существующих законов, покушений на собственность и коренного разложения всего общественного строя».

Решительное заявление главы тори Веллингтона о желании противодействовать парламентской реформе и, наконец,

существование в среде самих вигов сомнительных сторонников лорда Грея, как это видно из письма к Гизо, – все это до конца прений делало исход борьбы совершенно неизвестным для обеих сторон. Правда, стол спикера был завален петициями разных обществ в пользу билля, но большинство этих петиций исходило из центров, не имевших, в силу прежнего закона о выборах, своих представителей в нижней палате, и потому не обладало обязательной силой для какой-либо группы депутатов, за исключением все тех же принципиальных сторонников реформы. Ряды противников билля увеличивались еще и результатами его принятия. Кроме наделения представительством новых политических центров и понижения избирательного ценза, этот билль предусматривал уничтожение так называемых «гнилых местечек» и заранее лишал таким образом полномочий людей, которые, подобно Маколею, были представителями этих местечек, но не имели его мужества вотировать за реформу.

День 30 марта 1831 года, когда был принят билль, принадлежал поэтому к числу редких исторических моментов. Маколей сравнивал его с днем, когда Цезарь упал под кинжалами заговорщиков, или с днем, когда Кромвель взял булаву со стола спикера. Палата была переполнена. Когда удалили посторонних, в ней оказалось 608 депутатов, но самый опытный глаз не смог бы определить, сколько проголосовало «за» и сколько «против». Голоса подсчитывали, как последние капли воды в безводной пустыне, слабая надежда одних сменялась слабой надеждой других, а к Маколею опять возвратилась способность видеть в окружающих библейские личности, и образ предателя Иуды сливался у него с лицами противников билля. Наконец голосование кончилось. Виги победили большинством одного только голоса, к тем большей радости, что почти рассчитывали на поражение. Что касается Маколея, то он даже заплакал от волнения, когда узнал о победе. В Лондоне тоже с напряженным вниманием следили за парламентской борьбой. Первым вопросом извозчика, нанятого Маколеем, был вопрос о билле: «Прошел ли билль, сэр? – Да, большинством одного голоса. – Слава Богу, сэр…»

Результат голосования нижней палаты перенес вопрос о реформе в палату лордов. Здесь судьба его была известна заранее. Лорды отвергли билль дважды, вторично – после роспуска парламента. Чтобы сломить эту оппозицию, король хотел назначить сразу несколько новых пэров, но к этой мере не пришлось прибегнуть, потому что лорды решили наконец уступить давлению общества и правительства, и билль сделался законом. Как один из самых ревностных поборников реформы,

Маколей был единодушно избран от Лидса в депутаты обновленного парламента. Он принимал здесь деятельное участие в дебатах об ирландском самоуправлении, причем высказался против особого ирландского парламента; в дебатах об английских католиках, причем поддерживал их сторонников; выступал против чрезмерных доходов англиканской церкви; наконец, выступал за равноправие евреев.

Речи Маколея всегда были событием парламентских заседаний. Как только разносилась весть, что он собирается говорить, депутаты спешили к своим местам, парламентские чиновники покидали свои бюро и даже буфетная прислуга искала местечка, чтобы послушать оратора. Маколей говорил плавно, почти не переводя дыхания, несколько монотонным голосом, заложив левую руку за спину и делая правой небольшие редкие движения. Его речи были своего рода essays, только ненаписанные, но столь же прекрасные во всем, что было автором неспеша и строго обдумано. Напротив, когда надо было возражать, когда начинался перекрестный огонь коротких, но метких дебатов, Маколей вдруг как бы терял свое красноречие и, окончив главную речь *за* или *против,* большей частью молча сидел на своем месте. Писатель одерживал в нем верх над оратором. Он чувствовал это сам и потому, с первых дней своей парламентской деятельности, подумывал о более спокойном и подходящем поприще. К тому же материальное положение его и его родных все еще было неудовлетворительно, и он с большой охотой принял предложенную ему должность члена верховного индийского совета и в 1834 году распростился с парламентом. Ему улыбалась при этом перспектива побывать в неизвестном крае, освежиться новыми впечатлениями, наконец, возможность сколотить небольшой капитал для безбедного существования, так как жалованье назначалось большое —150 тысяч рублей в год.

В начале февраля, вместе с сестрой Анной, Маколей отплыл из Портсмута. При тогдашних средствах сообщения дорога была долгая, путешественники только в июле прибыли в Калькутту. Впрочем, Маколей не скучал в дороге. Он привык к кабинетной работе один на один и, как видно из его писем в Англию к другой сестре, Маргарите, устроился в каюте, как дома, пожирая книги на греческом и латинском, испанском и итальянском, французском и английском языках. Он перечитал таким образом Гомера, Вергилия и Горация, комментарии Цезаря, «De argumentis» Бэкона, Данте, Петрарку, Тассо, Ариосто и др., наконец, «Историю Индии» Милля-отца. Новая страна глубоко заинтересовала Маколея. Описанием ее нравов и памятников пересыпаны его письма в Англию, но, как ни своеобразна,

самобытна была культура страны, новый администратор ни минуты не колебался в мнении, что все, что хорошо в Англии, должно быть хорошо и на Индостане. Таков был основной мотив четырехлетней деятельности Маколея в Ост-Индии.

Само назначение его сюда имело в виду реформы. Действия Ост-Индской компании, заправлявшей, на основании монополии, делами английских владений полуострова, признаны были правительством метрополии неудовлетворительными, а продление монополии еще на четырнадцать лет считалось всеми временной мерой, окончательной отмене которой должны были предшествовать реформы края и строгий контроль над действиями компании. В этом состояли полномочия Маколея, и он деятельно принялся за работу. Прежде всего его внимание остановилось на просвещении народа.

Здесь царствовало полнейшее запустение. Компания по своей сущности была чисто торговым обществом и только в силу крайней необходимости и в тех же торговых интересах считалась с общественными нуждами страны. Она благоприятствовала «самобытному» прозябанию страны: это было дешевле и вместе с тем устраняло все неприятности борьбы и возможных недоразумений. В результате получалось нечто действительно комическое. Английские солдаты принимали участие в процессиях браминов и воздавали воинские почести индийским идолам. Трагизм был тем острее, что за видимым покровительством стране и проявлениями терпимости скрывались поползновения чисто эгоистического свойства, за ширмами гуманизма – все прелести иноземного владычества. Маколей решил, что пора положить конец и комедиям, и трагедиям. Необходимость этого сознавалась, впрочем, и до него, – до него уже существовали два главных взгляда на управление Индией. Представителем одного из этих взглядов был миссионер Адамс, издатель калькуттской «Индийской газеты». Это был сторонник самобытности индусов в лучшем смысле слова. Он советовал содействовать развитию нации, господству национального языка и науки на этом языке, не опасаясь перспективы политической самостоятельности страны, но заботясь лишь о сохранении нравственного и промышленно-торгового влияния. Другая партия смотрела иначе, и к ней Маколей примыкал с оговорками, естественными в устах либерала и гуманиста.

«В чем заключается сущность вопроса? – говорил он по этому поводу в своей записке. – Мы озабочены распространением образования в народе, который на собственном языке не имел ровно ничего, что могло бы сообщить ему полезные знания.

Нужно, следовательно, обучить его какому-либо из иностранных языков, – но какому же именно отдадим мы предпочтение?» Маколей решал этот вопрос безусловно в пользу английского, потому что на этом языке имеется целая сокровищница знаний. «Неужели вместо этого, – продолжал он, – мы станем заботиться об изучении в школах таких наречий, на которых не существует ни одной книги, способной выдержать сравнение с нашими; неужели вместо европейской науки мы будем содействовать распространению самых нелепых сведений, будем покровительствовать такой медицине, которой устыдился бы любой английский коновал, такой астрономии, над которой посмеется каждая маленькая девочка в нашей приходской школе, такой истории, которая рассказывает о царях в тридцать футов ростом и о царствованиях, продолжавшихся по три тысячи лет сряду?» Вопрос решался, по мнению Маколея, примером Англии. Она только тогда приобщилась к европейской цивилизации, когда отказалась от довольствования домашним кладезем мудрости, а между тем этот кладезь был не хуже индийского. Маколей ссылался еще на другой пример. «Другой пример, – говорил он, – еще ближе к нам. В прошлом столетии нация, находившаяся в состоянии такого же варварства, в каком пребывали наши предки до крестовых походов, постепенно освободилась от него и заняла место между цивилизованными государствами. Я говорю о России. В стране этой находится обширный класс общества, многие представители которого нисколько не уступают людям, составляющим украшение лучших кружков парижского и лондонского обществ. Есть полное основание думать, что эта могущественная империя вступит со временем в деятельное соперничество с Францией и Великобританией на пути прогресса. Какими же средствами был совершен этот переворот? Он совершился не потворством народным предрассудкам, не тем, что молодых людей приучали верить бабьим сказкам, которым верили их отцы, не тем, что заставляли их ломать голову над вопросом, когда именно —13 сентября или в другой день – создан был мир, но распространяя между ними знание чужеземных языков и этим самым давая им возможность обогатить свой ум истинно научными сведениями. Языки Западной Европы цивилизовали Россию, и я полагаю, что ту же услугу они могут оказать Индии…»

После Маколея в Индии господствовала двойная система образования: туземный язык в низших школах и английский – в средних и высших. Но во времена Маколея задачей правительства в этой сфере признавалось «распространение европейской науки и литературы между туземцами британской Индии», а лучшим

средством – язык метрополии. В этом направлении, несомненно, были свои невыгоды для колонии, она как бы готовилась на вечное пленение англичанами, зато, с другой стороны, это давало ей важное оружие – науку, и уж от доброй воли первых обладателей этого оружия зависело поделиться им с массой на родном для нее языке и подготовить возвращение старины – политической самостоятельности, озаренной светом свободы и науки… Как англичанин, Маколей, понятно, симпатизировал всему английскому. Английское было для него синонимом прогресса, и он дарил Индии то, что считал за лучшее. Нужно было только создать ступени к этому лучшему, и первой из них было просвещение. Он никогда не забывал величественного образа римского священника, который, увидев на итальянском рынке рабов из Англии, решил просветить их светом Евангелия и знания и действительно исполнил это намерение, достигнув папского престола. «Мы не имеем, – говорил об этом Маколей в своей речи об освобождении негров, – определенных сведений о затруднениях, которые ему предстояло преодолеть. Но мы знаем, что во все времена дорога к добродетели и славе шла чрез ненависть и позор. Вероятно, нашлись достойные государственные деятели, высказывавшие мнение, что мысль о нравственном развитии виттенагематов Гептархии должна быть оставлена; без сомнения, нашлись рабовладельцы, утверждавшие, что их рабы питаются лучше, чем король Ломбардии; без сомнения, нашлось много остряков, осмеивавших экзальтацию папы, и клеветников, маравших его репутацию. Весьма возможно, что нашлись даже негодяи, разрушавшие построенные им капеллы, и клятвопреступные рыцари, поднимавшие на виселицу его миссионеров. Как бы там ни было, мы знаем, что он настоял на своем, и посмотрите на результат!..» Этим результатом была Англия XIX столетия, а потому «Fiat lux in tenebris!»[2] было лозунгом Маколея и в Индии.

Такие лозунги нередки в устах новичков-администраторов. Они далеко не всегда Маколей по уму и красноречию, если не принимать за голос истины почтительных адресов при их приезде и отъезде, однако самый элементарный запас благоразумия всегда вовремя внушает им необходимость показать обществу перспективы, конечно не по рецепту Ровоама: «Отец мой бил вас бичами, а я буду вас бить скорпионами…» Вступая в должность, они всегда заготовляют целый фейерверк гуманных фраз, очень часто даже с легкой примесью радикализма, хотя теперь уже редко кто обманывается подобными увертюрами. В словах Маколея не было ничего подобного. За его словами сейчас же последовало дело – было учреждено несколько высших и средних

школ для индийской молодежи. Богатых горожан привлекали к участию в пожертвованиях. Бюджет народного просвещения достиг небывалых размеров. Одним словом, под небом Индии Маколей ни на йоту не изменил своим убеждениям, в данном случае взглядам на просвещение. Он всегда был горячим сторонником образования. «Правительство, – говорил он, – обязано защищать нас и нашу собственность от всякой опасности. Главная опасность для нас и нашей собственности лежит в невежестве народа. Следовательно, правительство обязано стараться, чтобы народ не был невежествен». Он сказал это в Англии, говорил на берегах Ганга, повторил бы в России и где хотите.

Как ни высоко ставил Маколей классическую литературу, он и в Англии, как и в Индии, стоял за изучение английского языка по преимуществу, потому что, по его мнению, знавший отлично греческий и латинский имел гораздо меньше преимуществ, чем знавший один английский язык. «Великий человек средних веков, – говорил Маколей, – не мог вообразить ничего подобного „Макбету“, „Лиру“ или „Генриху IV“. Лучшая известная ему эпическая поэма была гораздо слабее „Потерянного рая“, и все тома его философов не стоили одной страницы „Novum Organum“ Бэкона». В подобной точке зрения видели доказательство слабости Маколея как философа. Ему, как говорили, недоставало философского образования. Если это его вина, то в такой же мере, как неверие протестанта в непогрешимость папы. Знай или не знай Маколей философов древности, он все равно остался бы при своем мнении, потому что по складу своего ума был утилитаристом. Он требовал от науки или литературы, как и от политики, служения жизни. Для него было хорошо и разумно только то, что улучшает жизнь, увеличивает сумму полезных знаний, человеческой свободы и счастия. Он симпатизировал философии только в духе Бэкона, и вообще философия, по его мнению, началась *только с* Бэкона. Древние мыслители обнаружили и затратили массу ума – Маколей соглашался с этим, но объект их мышления казался ему бесполезным, и, подобно Данте, сожалевшему, что великие люди древности томятся в аду, он сожалел о направлении их мысли. «Так вот из-за чего они не обедали!» – говорил Маколей словами одной римской комедии, подразумевая труды философов древности. С этим взглядом тесно связаны воззрения и симпатии его как общественного и государственного деятеля: любовь к свободе как лучшей гарантии человеческого счастия, любовь к просвещению – потому же, и предпочтение английского языка всякому другому, не исключая языка греков и римлян, потому что это знание – ближайшая

дорога к сокровищнице *полезных* знаний, и следовательно, к свободе и счастью… В этом духе были заботы Маколея о просвещении индусов.

Другой заботой его были судебные дела и законы. По собственным его словам, прежде чем дождаться «умеренности, милосердия и дальновидной политики» своих завоевателей, население Индии испытало на себе английскую силу, «не сопровождавшуюся английской нравственностью». Это был период, когда завоеватели довольно долго думали только о том, чтобы скорее выжать из туземцев сто или двести тысяч фунтов, затем вернуться домой, жениться на дочери пэра и, накупив «гнилых местечек», пробраться в члены палаты. Целые толпы подобных Писарро ежегодно высаживались в портах Индии, и если не погибали от лихорадки, то опять отплывали на родину, чтобы разыгрывать там роль почтенных граждан соразмерно тугости кошелька. В довершение их благополучия и к соблазну новых искателей счастья, закон как бы покровительствовал этим пришельцам. В гражданских делах с туземцами эти господа, на правах сынов Англии, имели привилегию апеллировать в верховный калькуттский совет и там искать правосудия, недоступного их противникам. Маколей решил отменить эту роскошь бесправия и действительно настоял на своем решении. Ему пришлось вынести при этом целую бурю негодования с патетическими возгласами о любви к свободе и, наконец, с такими потоками красноречия, что пришлось скрывать от его сестры газеты, в которых говорилось о Маколее.

Сам он относился к этой кампании со спокойствием человека, знающего цену своим противникам.

«Со всех сторон, – писал он, – мы только и слышим, что об общественном мнении, о любви к свободе и законном влиянии печати. Но не забывайте, что под общественным мнением в этой стране подразумевается мнение не более чем пятисот человек, которые по своим интересам, образу мыслей и наклонностям не имеют ничего общего с 50 миллионами туземцев; что любовью к свободе здесь величают сильнейшее негодование против всяких мер, которые препятствуют пятистам лицам поступать по собственному произволу с 50 миллионами; что печать существует только для этих пятисот, а потребности и желания 50 миллионов отнюдь не принимаются ею в соображение. Всем известно, что Индия еще не создана для свободных учреждений, но, по крайней мере, мы должны обеспечить для нее систему доброжелательного и беспристрастного деспотизма. Она очутилась бы поистине в бедственном состоянии, если бы увенчалось успехом все, чего добиваются противники принятой мной меры, потому что главная

их цель состоит в том, чтобы они были признаны привилегированным классом свободных людей среди громадной массы рабов. Меня называют врагом свободы только потому, что я не хочу допустить безграничного господства немногочисленной аристократии над всем здешним природным населением».

Главным трудом Маколея в Ост-Индии было составление уложения законов для индусов. В помощь ему были назначены четыре помощника, а в руководство – программа с двумя принципами: суд беспристрастный, дешевый и скорый, наказания без лишней жестокости. Маколею предоставлялось не только собрать уже существовавшие законы и обычаи, но также преобразовать их согласно требованиям разума и необходимости. Труд был громадный, однако уложение было окончено без проволочек. По мнению одних, оно представляло собой нечто прекрасное, совершеннейшее произведение законодателя; по мнению других, оно было ниже всякой критики. По словам Вызинского, истина была посередине. Труд Маколея обладал достоинствами со стороны теоретической и недостатками с практической. «Он был, можно сказать, слишком хорош для индийского населения. Индусы еще не доросли до таких законов. Различие туземных пород сделало почти невозможным его применение». Справедливость этого мнения *отчасти* доказывается следующим письмом мадрасского туземца к самому Маколею. «Известно Вашему превосходительству, – писал этот корреспондент, – что все зло происходит от одной причины, а именно: от усвоенной жителями этой страны привычки давать ложные показания на суде. Судья решительно не знает, чему верить. Если Вы сумеете принудить жителей говорить только то, к чему обязывает их присяга, то имя Ваше прославится, и дела компании будут процветать. Я не скрою этого от Вас ради Вашей пользы и ради интересов правительства. Прикажите только отрезывать большой палец на правой ноге у всякого, кто скажет на суде неправду, – и Вы убедитесь, что слава Ваша будет обеспечена навек…»

Если хорошее действительно оказалось несвоевременным, то Маколей мог утешиться сознанием, что и в Индии остался верен чувству гуманности и преданности прогрессу. В остальном он мало находил утешения. Как прежде он рвался в Индию, так его тянуло теперь обратно на родину, и он выражал даже желание хоть умереть, но поскорее увидеть Англию. Наконец в 1833 году он покинул Калькутту. Радость прибытия в отечество еще в дороге омрачилась, однако, известием о смерти Захарии Маколея. Захария умер семидесятилетним стариком, дождавшись исполнения своих заветных желаний. В этом отношении он был

счастливее Вильберфорса. Глава аболиционистов скончался 29 июня 1833 года, за два дня до принятия парламентом билля о полном освобождении негров в британских колониях.

Смерть отца, четырехлетняя неутомимая работа в Индии, ряд неприятных столкновений – все это не замедлило отразиться на нервной натуре Маколея. Его охватила в конце концов страстная жажда покоя, желание отрешиться от неугомонной сутолоки жизни, уйти в себя от непрерывной смены волнений и тревог. Как это ни странно в устах писателя, в каждой строке которого сказывается деятельный интерес к судьбам человечества, Маколей доходил в эту пору даже до признания бесцельности политической борьбы. «Пусть каждый, – писал он, – идет своим путем. Но если перед кем-либо открываются два пути, литература или политика, и слава ожидает его одинаково на том и другом из них, а он отказывается от литературы, чтобы посвятить себя исключительно политике, то, по-моему, это просто безумие. С одной стороны – здоровье, отдых, спокойствие ума, безмятежное занятие научными вопросами, все наслаждения, доставляемые дружбой и обществом, с другой же – почти несомненное расстройство физических сил, изнуряющий труд и постоянные тревоги. И *ради каких благ,* имея возможность ложиться спать и вставать в определенный час, заниматься чем хочешь и посещать тех, кто нам нравится, мы будем осуждать себя на жизнь арестанта и просиживать целые ночи напролет в душной атмосфере, слушая речи, из которых девять десятых не стоят порядочной передовой статьи в газете?..»

Не только физическое и нравственное утомление было причиной апатии, охватившей Маколея по возвращении из Индии. Это был еще своего рода реванш писателя политику. Правда, и в Индии Маколей не покидал своих любимых занятий и продолжал помещать статьи в «Эдинбургском обозрении», но служебная процедура все-таки была преобладающим элементом его деятельности на Индостане. Основное требование его натуры постоянно подавлялось там, отодвигалось на второй план, а потому и реакция наступила во всей своей резкости, до полного отрицания всякого интереса к общественным делам. Все, что не было литературой, показалось ему, в этом новом настроении, бессмысленным водотолчением – «и ради каких благ?..» – самоистязанием на верной дороге к преждевременной могиле. Говоря о превосходстве газетных статей над парламентскими речами, он был близок к решению «разломать на дрова скамьи нижней палаты и разрезать на азбуку Великую хартию…» Отсюда понятно, почему, вернувшись в Англию, Маколей остался на родине лишь короткое время и затем пустился в странствования

по Европе. Его письма из Италии за это время переполнены описанием художественных памятников, восторгами писателями древности и отмечены почти полным молчанием о политике. В ноябре 1838 года Маколей был во Флоренции. Он получил здесь письмо от Мельборна, в это время главы министерства вигов, с предложением места в кабинете без участия в совещаниях. Маколей ответил отказом. Он стоял на своем решении отдаться исключительно литературе. Но политик уже пробуждался в его душе, и он делал оговорку к отказу, что был бы не прочь занять более видное положение в министерстве. В 1839 году Маколей вернулся в Англию.

# Глава IV. Опять в парламенте

***Макалей – военный министр. – Сарказм тори. – Падение кабинета Мельборна. – Радость Маколея. – Макалей – виг. – Отношение к демократии. – Сэр Роберт Пиль и Маколей. – Особенности реформы 1831 года. – Разочарование народа. – Мнение радикала. – Обновленный парламент и народ. – Чартизм. – Из петиции чартистов. – Отношение к ним Маколея. – Политическая двойственность его. – Хлебные законы. – Болтонские беспорядки. – Доктор Бирней и хирург Польтон. – Лига против хлебных законов. – Речь Фокса против Пиля. Позиция Маколея. – Майнутская школа. – Разлад Маколея с избирателями. – Не у дел***.

Принятие нижней палатой билля о парламентской реформе в 1831 году большинством всего в один голос было ручательством неустойчивости либеральных министерств. Единица перевеса получилась, кроме того, благодаря поддержке радикалов и католиков, и потому налагала на вигов обязанность стоять за интересы последних. При таких обстоятельствах либералы получали радикальный оттенок. Часть их мирилась с этим новым положением, другие же предпочитали, по выражению лорда Брума, «оставаться на берегу, когда их товарищи предпринимали плавание». Либералам не хватало к тому же деятелей, способных увлекать общественное мнение, людей почина и энергии с широкой политической программой. Отсюда приглашение Мельборна Маколею занять место в министерстве и поддержать своим именем престиж кабинета. Речь шла об интересах партии, а потому Маколей согласился. Он поставил свою кандидатуру в Эдинбурге, получил большинство и, заняв место в нижней палате, через некоторое время стал военным министром. Небольшое развитие сухопутных сил Британии отчасти оправдывало это назначение, а исполнительность и трудолюбие Маколея несомненно гарантировали добросовестность нового главы военного ведомства. Но все-таки все чувствовали в это же время, что знаменитому писателю выпадала роль соломинки для спасения погибавшего министерства. Как ни блестящи были страницы, посвященные Маколеем в статье о Кляйве завоеванию Индии, – его коллеги, конечно, не рассчитывали на знание им военного дела. Кабинету Мельборна требовались испытанное красноречие и популярность Маколея. Однако оппозиция взглянула на дело несколько иначе. В «Таймсе» – органе Пиля – о новых министрах, и в том числе о военном, отзывались с едким сарказмом. «Им, – говорили там, – не только не следовало бы

быть министрами, но они едва ли способны занять вакантные места, открывшиеся вследствие достойной всякого сожаления кончины двух любимых обезьян ее величества…» За вычетом партийного красноречия это значило, что дни либерального министерства сочтены. Впрочем, оно все-таки продержалось два года со дня вступления в него Маколея до 1841 года. «Могу сказать вполне искренне, – писал Маколей после отставки, – что никогда не считал себя столь счастливым, как теперь. Наконец я свободен и независим. Наконец я пользуюсь досугом для литературных занятий и вместе с тем не обязан трудиться ради денег. Если бы мне пришлось избирать какой-либо образ жизни, я остановился бы именно на том, который выпал мне на долю в настоящее время». Пятью годами позже этого письма Маколей опять на короткое время принимал участие в кабинете Джона Росселя (генерал-казначеем), но в искренности его признаний сомневаться нельзя. Если их диктовало оскорбленное самолюбие, то в очень слабой степени. Отречение Маколея имело более важные причины. У него назревал план обширного литературного труда, – здесь была первая причина отречения. Вторая заключалась в разладе с эпохой.

Нет слов, Маколей до конца своей жизни оставался вигом, но в сороковых годах его вигизм принадлежал скорее прошлому, чем настоящему. «Вигам XIX столетия, – говорил он эдинбургским избирателям, – мы обязаны преобразованием нижней палаты. Уничтожение торговли невольниками, уничтожение рабства в колониях, распространение образования в народе, смягчение строгости уголовных законов – все, все было сделано этой партией, и – повторяю – я член этой партии, я с гордостью смотрю на все, сделанное вигами для свободы и благоденствия человечества…» Этим почти исчерпывалась либеральная программа Маколея, дальше начинались опасения и оговорки… Еще на заре своей литературной деятельности, в «Разговоре» Коули с Мильтоном, он вложил в уста последнего замечание: «Не освобождайте слишком поспешно – иначе они проклянут свою свободу и будут тосковать по своей темнице». Здесь слышится голос постепенца, но вскоре он сменяется голосом консерватора… Через семь лет после «Разговора», в патетических местах речи за парламентскую реформу, например в возгласах «Спасите аристократию! Спасите собственность!», уже чувствуется та граница, которую Маколей никогда не переступит, чувствуется ужас и трепет оратора, что непринятие билля вызовет на сцену в ближайшем будущем страшный призрак демократии. При этом слове Маколей решительно терялся, утрачивал ясность своего ума, удивительную способность освещать самые запутанные

положения и даже простую логику. Правда, в некоторых своих речах он как будто примирялся с необходимостью, но только в некоторых, в других же брал назад свою готовность примириться. В одной речи он говорил об участии рабочих в парламентских выборах, в другой говорил то же самое, но прибавляя «если»: если бы между всеми рабочими был распространен значительный уровень образования, если бы они всегда имели работу и дешевый хлеб… В третьей речи он уже не допускал ни «если», ни «бы», а говорил решительно и прямо: «Я восстаю против всеобщей подачи голосов, потому что она у нас *неприменима,* потому что она ведет к расхищению собственности и к погибели гражданственности. Я не желал бы видеть в Англии тиранию нищих, грабежа и варварства…» С этой точки зрения Маколей относился недоверчиво к демократическому строю Соединенных Штатов. Их благоденствие и спокойствие он считал временным. Увеличение населения, развитие промышленных центров наподобие английских Манчестера и Бирмингема сравняют заатлантическую республику со Старым Светом, вызовут в ней волнения рабочих, агитацию социалистов, и это будет роковой пробой демократического строя. В Англии Маколей не признавал опасными взрывы недовольства рабочих на том основании, что в этой стране *«те, которые страдают, не управляют государством».* «В Англии, – говорил он, – высшая власть находится в руках класса, правда, многочисленного, но избранного, класса образованного, который сильно заинтересован в безопасности собственности и поддержании общественного порядка». Здесь волнения вспыхивают и легко подавляются, затем наступает спрос на рабочие руки, заработная плата повышается, и снова все довольны и сыты. Иное дело Соединенные Штаты с их демократическим строем. Там правительство избирается большинством, и в этом была угроза их будущему, в глазах Маколея. «Придет время, – писал он одному американцу 23 мая 1857 года, – когда в штате Нью-Йорк законодательное собрание станет избирать толпа людей, из которых ни один не будет иметь более чем половину завтрака и обеда. Возможно ли сомневаться, какого рода законодательное собрание выберут эти люди? Вот, с одной стороны, государственный человек, который проповедует терпение, уважение приобретенных прав, строгое соблюдение публичной честности. Вот, с другой – демагог, который декламирует о тирании капиталистов и лихоимцев и спрашивает, можно ли допустить, чтобы кто-либо пил шампанское и ездил в карете в то время, когда тысячи честных людей лишены самого необходимого? Кого же из этих двух кандидатов предпочтет работник, который слышит, как его дети кричат: „Хлеба!“? Я

серьезно опасаюсь, что в такие времена злополучия у вас могут произойти события, которые сделают невозможным возвращение прежнего благосостояния. Или какой-нибудь Цезарь, или Наполеон захватит кормило правления в свои крепкие руки, или же ваша республика будет так страшно разграблена и опустошена варварами в XX столетии, как Римская империя была разграблена и опустошена в V столетии. Разница будет лишь в том, что гунны и вандалы, разорившие Римскую империю, пришли извне, а ваши гунны и вандалы будут порождены в вашей собственной стране, вашими собственными учреждениями». Устами Маколея говорила добрая половина либералов.

После парламентской реформы 1831 года из партии тори выделилась новая группа деятелей с девизом: «Признание совершившегося и борьба с демократическим движением». Вождь этой группы, сэр Роберт Пиль, называл ее консервативной, и Маколей несомненно симпатизировал народившимся консерваторам. Правда, он никогда не покидал рядов либералов, да в этом и не было надобности. По негодующим словам Дизраэли, сэр Роберт Пиль был человеком, который обманывал одну партию, грабил другую и, лишь только достигнув положения, на которое не имел права, объявлял: «Оставим партийные вопросы!» Маколей тоже осуждал эквилибристику Пиля. Когда ему случалось соглашаться с его предложениями, он оговаривался, что отличает предложение от автора последнего, но, поднимись в парламенте вопрос о всеобщей подаче голосов, скрытая солидарность Маколея с английскими консерваторами тридцатых годов не замедлила бы объявиться, что и произошло в 1842 году.

Как было уже отмечено, торжеством билля о парламентской реформе виги были обязаны поддержке радикалов и общества в самом широком смысле слова. Борьба с Наполеоном или, вернее, с «гидрою революции», отразилась тяжким образом на английском населении. Из бюджета этого населения надо было изъять 200 миллионов фунтов стерлингов (два миллиарда рублей), чтобы покрыть военные издержки, и лучшим средством для этого в 1815 году парламент признал налог на хлеб – налог, возвысивший цену этого продукта до неслыханной в Англии цифры: 60—80 шиллингов (24—32 рубля) за четверть. По мере того как происходило погашение долга, нищета населения превращалась в хронический голод, глухое недовольство – в открытые беспорядки, и вместе с тем в народных массах пробуждалось сознание необходимости воздействовать в своих интересах на ход государственной машины. Лозунг вигов – реформа избирательного права – казался при таких условиях

первой ступенью к счастливому времени довольства. Новые представители на скамьях нижней палаты должны были сыграть, по мнению измученного народа, роль некрасовского барина: «Вот приедет барин, барин нас рассудит…» Поэтому, когда палата лордов вторично отвергла билль, народ ответил волнениями, поджогами и насилием. Приезд в Бристоль противника реформы Ветереля был встречен камнями и свистом. Дом мэра, где остановился Ветерель, был сожжен, затем были сожжены дом епископа, таможня, акцизное управление – всего более четырех десятков зданий. В городе водворилась анархия, восставший народ с топорами в руках и с горшками скипидара ходил по Бристолю, уничтожая все, что носило следы солидарности с противниками реформы. Вот почему король хотел назначить сорок новых пэров и написал сто собственноручных писем к лордам.

Наконец засияло солнце, билль был принят и стал законом, обладатели десяти фунтов ренты пробрались на скамьи нижней палаты, «Слава Богу, сэр», – говорил извозчик, отвозя депутата из парламента. «Барин» приехал, и не мертвый, а живой, но положение народа оставалось все то же…

Пора отрезвления началась сейчас же после реформы и даже в. самый разгар парламентской борьбы.

«Действительно, – писал радикал Гетерингтон 1 октября 1831 года, – народ доведен до самого отчаянного положения. Можно сказать, что он смертельно болен. Это – болезнь бедности и унижения. Она может быть излечена только радикальным врачом, который живет между ее жертвами и ставит себе в обязанность как изучение болезни, так и заботу о больных. Всеобщее избирательное право, тайная баллотировка, уничтожение каких бы то ни было имущественных ограничений, ценза или правоспособности – вот необходимые лекарства. Во всяком случае, наша обязанность – протестовать против такой партийной и призрачной меры, как „реформа“, и честно дать вам знать, что народ никоим образом не относится к ней благоприятно».

Дальнейшие события вполне оправдали слова этого выразителя народных желаний. Оправданию их помогали сами виги. Добившись реформы, они решили, что пора убрать бутафорские принадлежности народных демонстраций, потому что на это движение действительно смотрели как на своего рода балет, удачно разыгранный, но подлежащий снятию со сцены. Для них вопрос был исчерпан. Страна нуждалась, по их мнению, в отдыхе, хотя бы и на голодный желудок, а промышленность и торговля – в процветании. Когда парламенту предложили назначить комитет для исследования бедственного положения

рабочих классов, он нашел, что это роскошь, и мотивировал отказ отсутствием особенной надобности. Но так как эпоха наивных иллюзий и идиллического настроения миновала, то отказ был подкреплен биллем о подавлении волнений оружием. Правда, последняя мера касалась Ирландии, но это не увеличивало популярности парламента. «Голодные» легко могли столковаться, и действительно, ирландцы очень долго шли рука об руку с радикалами Англии. Впрочем, парламент вовсе не думал о соглашении. В 1833 году он нанес «голодным» и своей популярности новый удар – не менее чувствительный. По закону Елизаветы, голодные, больные и немощные всегда имели в резерве право на приходскую помощь и в 1832 году получили таким образом двадцать миллионов рублей. «Громадное» воспособление в действительности было бесконечно малым, если учесть огромное количество голодных ртов, однако мелкие собственники и фабриканты, пользуясь благоприятной минутой, подняли вопль, что нищие объедаются мясом и отнимают у прилежных рабочих возможность высокого заработка. Часть этого заработка, по словам протестантов, уходила на кормление лентяев… Зло было обнаружено, а в виде врачевания парламент решил прекратить оргии нищих, уничтожить раздачу на дом пособий и передать дела приходской благотворительности в ведение особых комитетов.

В 1834 году английские ремесленные союзы сделали первую попытку сплотиться в одну организацию. Через два года в Лондоне образовалась ассоциация рабочих и мало-помалу развилось движение, известное как чартизм. Ассоциация старалась также войти в сношение с иностранными рабочими, бельгийскими, американскими и даже с польскими патриотами. В феврале 1837 года ассоциация собрала митинг в таверне «Crown and Anchor» («Корона и якорь») с целью выработать петицию в парламент о всеобщей подаче голосов и прочих вопросах. Так были отредактированы шесть параграфов «народной хартии» – пиплз-чартер (people's charter), откуда пошло и название ее составителей и поборников – чартистов. Основы «народной хартии» сводились к следующим положениям:

1. Всеобщая подача голосов.
2. Ежегодные выборы в парламент.
3. Тайная баллотировка.
4. Отмена имущественного ценза.
5. Жалованье членам парламента во время исполнения общественной обязанности.
6. Равные избирательные округа по числу избирателей.

Восьмого мая 1838 года появилась и сама петиция чартистов,

а к концу 1839 года чартизм подвергся разгрому. Главные деятели его попали в тюрьму, а кто оставался на свободе, тот во всякое время мог оказаться лишним винтом в социальной машине и остаться без хлеба и работы. Фабриканты сейчас же рассчитывали подозрительных, прокуроры требовали от судей для сторонников хартии высшей меры наказания. Оживление чартизма снова последовало в начале сороковых годов. В апреле 1842 года исполнительный комитет чартистской ассоциации решил подать петицию парламенту с прибавлением седьмого пункта об отмене слияния с Ирландией. 2 мая того же года петицию торжественно привезли в Лондон. Процессия чартистов двинулась по главным улицам при любезном содействии полиции, направляясь к зданию парламента. Депутат Данкоб предложил коллегам выслушать чартистов у нижней решетки палаты, но Маколей восстал против этого и склонил парламент к отказу. В полной солидарности с чартистами Маколей был только по вопросу о хлебных законах.

Политическая зрелость масс всегда и везде начиналась и начинается с желудка. Немудрено поэтому, что ряды чартистов увеличивали ряды противников хлебных законов. Эти законы были ближайшим объектом народного негодования, и в их отмене, как в былое время в реформе-обмане, оптимисты народной среды видели панацею. Хлебная политика правительства в сороковых годах объяснялась теорией покровительства английским землевладельцам, а между тем те же землевладельцы – конечно, мелкие, но ведь их-то и спасали от иностранной конкуренции – говорили на митингах, что им покровительствуют, а они умирают с голоду. Покровительство состояло в обложении пошлинами ввозного зерна: в урожайные годы оно повышалось, в голодные падало, но, по меткому выражению Джона Россела, хлебный барометр на самом деле показывал хорошую погоду, когда корабль трещал от бури. В 1842 году глава консервативной партии сэр Роберт Пиль поддерживал максимум пошлины на заграничное зерно в 20 шиллингов (восемь рублей) с четверти при цене местного зерна в 51 шиллинг (двадцать рублей), виги стояли за восемь, а тори за более высокое обложение. В народном обиходе эти шиллинги определялись гораздо проще и выразительнее: в XV столетии четверть хлеба стоила рабочему двадцати двух дней труда, а в 1838 году та же четверть обходилась уже в *сорок шесть*. Еще более просто это формулировалось словами: народ голодал.

В середине тридцатых годов тяжесть хлебных законов увеличилась еще и промышленным кризисом. В городе Болтоне близ Манчестера, с населением в 50 тысяч жителей, из 50

промышленных заведений 30 были закрыты, и пять тысяч рабочих не имели ни работы, ни хлеба. Дети умирали с голоду на руках у матерей, отцы покидали семьи, чтобы не видеть их страданий. В городе царил беспорядок, четверть домов пустовала, тюрьмы были переполнены. Парламент назначил расследование, но дело тянулось, а бедствие продолжалось. Однако Англия находилась в это время в завидном положении, когда страна не только волнуется, но и выделяет из своей среды людей энергичных, готовых служить ее интересам. Голод ведет за собой болезни, и потому врач – первый свидетель его успехов. Этим легко объясняется, почему в роли первых истолкователей несчастия болтонцев явились представители медицины.

В августе 1838 года старый медик, доктор Бирней объявил в Болтоне, что намерен в такой-то день и час прочесть лекцию о хлебных законах и их последствиях. Хотя последствия хлебных законов были населению отлично известны, на лекцию собралось столько народу, что почтенный Бирней оробел и отказался от чтения. Академическое настроение обманувшихся слушателей готово было перейти в грозное раздражение, как вдруг на сцену – дело происходило в театре – вышел хирург Полтон и произнес блестящую речь против хлебных законов и о народных страданиях как следствии их. Это была счастливейшая из операций Полтона. Нарыв смутного недовольства был ловко разрезан, недуг локализован, рецепт прописан, оставалось лечиться и выздоравливать. Речь так понравилась слушателям, что они просили ее повторения, и Полтон прочел вторую лекцию с новыми данными в руках. Депутат Болтона Боуринг, сторонник свободы торговли, находился в это время в Манчестере, где заседал комитет фабрикантов, обсуждая все то же бедствие. Как только до него дошел слух об импровизациях хирурга, он сейчас же предложил призвать его в Манчестер. В результате на Полтона была возложена миссия объезжать мануфактурные округи Англии и выступать за отмену хлебных законов. Одновременно с этим манчестерская торговая палата приняла петицию в том же духе, под которой подписались фабриканты, торговцы и рабочие: хлебным законам была объявлена война не на жизнь, а на смерть. Чтобы поддерживать ее, фабриканты основали особый орган – «Circulaire contre la Taxe sur le Pain»[3] – и собрали на расходы издания 500 тысяч рублей. Еще более широкую постановку приняло новое движение под руководством Ричарда Кобдена, фабриканта ситца в Манчестере, депутата и богача с ясным умом и живым красноречием. Он перенес агитацию в Лондон и положил основание лиги против хлебных законов. Для пропаганды своих идей лига владела двумя салонами с эстрадой

для ораторов, где выступали лучшие представители английского политического красноречия. В одном из них, в Ковент-Гардене, на торговую политику Роберта Пиля особенно яростно набросился Фокс.

Обстоятельства как нельзя более поддерживали красноречие подобных выступлений. В 1845 году и Англия, и Ирландия переживали небывалый голод; запретительная система даже в самом умеренном виде рушилась сама собой, и не только виги, но даже и консерваторы с Робертом Пилем пришли к осознанию необходимости полной отмены хлебных законов. Что касается Маколея, то он всегда, по его собственным словам, обращенным к эдинбургским избирателям, «смотрел на покровительство земледелию как на дурной принцип» и еще в 1839 году стоял за полное уничтожение хлебных законов.

В этом вопросе он не расходился ни с крайними радикалами, ни со своими избирателями. Если в одних вопросах времени он оказывался человеком прошлого, то в других в сравнении с большинством своих современников он стоял на такой умственной и нравственной высоте, до которой не долетают упреки в ошибках. Его либерализм далеко не был еще ходячей монетой во всех закоулках Англии, не говоря уж о других странах Европы; в сравнении с его гуманностью и терпимостью нравственный катехизис даже лучших английских кружков представлял собой собрание вандальских воззрений, добродушных сентенций в духе инквизиционной морали, узкого патриотизма и двоедушия. В этом отношении Маколею случалось расходиться со своими избирателями – отчасти потому, что он не признавал программы, строго сформулированной выборщиками. Он требовал доверия, контроль он считал делом второстепенным, если же избиратели недовольны, они могут переменить депутата. Быть может, вследствие этого, принимая своих доверителей, он больше говорил, чем слушал, и однажды очень обидел эдинбургских виноторговцев, просивших его постоять за понижение акциза. Они просили понижения, а Маколей объявил, что его следует повысить. Между представителем власти и представляемыми этой властью назревал разлад. Приближалась развязка.

В 1845 году Пиль предложил расширить Майнутское католическое училище в Ирландии и соразмерно увеличить прежнюю субсидию в девяносто тысяч рублей. Для либералов это было несколько неожиданно, хотя совершенно в духе главы консерваторов, не признававшего партийных вопросов. Вопрос о школе был для Пиля маневром с целью задобрить католиков. Ирландия волновалась. В 1843 году на колоссальном митинге в

пятьсот тысяч человек О'Коннел произнес горячую речь за парламентскую автономию Зеленого Острова и даже прямо говорил, что «через год парламент будет в Дублине». Результатом этого митинга, и в предупреждение назначенного следующего, было заключение в тюрьму О'Коннела, его сына, многих сторонников, и затем – процесс. Правда, ирландский деятель был амнистирован палатой лордов – и Маколей горячо стоял за это, указав на пристрастие суда, но страна все-таки волновалась, и субсидия Майнутскому училищу могла иметь умиротворяющее значение. Но если волки временно насыщались, то волновались верные овцы. Субсидия католикам не только не нравилась, но просто возмущала английских протестантов. Попытки Пиля к постепенному сближению с Ирландией казались им изменой, поблажкой папизму и даже дьяволу. «Кто стоит за субсидию Майнутской школе, – говорилось в одной петиции против субсидии, – тот поклоняется зверю, поносит Бога, вооружается против святых и снова распинает нашего Спасителя…» «Первый министр, – писали в каком-то журнале, – так же симпатизирует своим соотечественникам и так же уважает их, как охотник любит оленя, рыбак – форель, а мясник – ягнят, которым режет горло…» В этом же духе выступали протестанты и в парламенте. «Не удивлюсь нисколько, – заявлял один из них, – если когда-нибудь увижу первого министра поклонником Магомета или в объятиях папы. Но во мне он не найдет сторонника. Один почтенный и ученый депутат заявил, что я скорее пожертвую принципами, чем своей бородой. Отвечаю ему, что я предпочту обрезать не только бороду, но и голову, но никогда не забуду, что родился в протестантстве, воспитан в протестантстве и в протестантстве Божьею милостью умру…» Будь в палате эдинбургские избиратели Маколея, они сказали бы то же самое, а между тем их депутат подал голос за предложение Пиля. К недовольству виноторговцев присоединилось, таким образом, общее недовольство «истинных христиан», и, когда в 1847 году наступили новые выборы, Маколей получил в Эдинбурге всего 1854 голоса, а его противник, некто Чарлз Коуэн, – 2063. Судя по тому, что в день этого фиаско Маколей написал довольно длинное стихотворение, полное душевного спокойствия, он не особенно сожалел о потере места в палате. Подводя итоги своей парламентской деятельности, он мог спокойно удалиться в мирную тишину своего рабочего кабинета. Там его ждали наброски любимого и лучшего его произведения – «История Англии».

# Глава V. «История Англии»

***Связь «Опытов» с «Историей Англии». – Начало работы. Взгляд Маколея на задачу историка. – Его писательская манера. – Материалы и путешествия. – Идея истории. – Критика недоброжелателей. – Заслуга Маколея как историка. – Мнение Бокля. – Маколей опять в парламенте. – Окончательное отречение от политики. – Внешность Маколея. – Красноречие. – Новые лавры и последние дни. – Заключение***.

Большинство «Опытов» Маколея всегда тесно связано с историей. Каждое лицо из тех, которым он посвящал эти «Опыты», всегда является у него на фоне своей эпохи. Маколей никогда не погружался в тонкости чисто литературной критики – даже в работах, где представлялось для этого обширное поле. Наконец, сам выбор этих работ всегда был выбором историка, и потому «Опыты» Маколея представляли как бы отдельные главы одного и того же труда. Желание связать в одно целое разбросанные по этим монографиям эпизоды английской истории не замедлило явиться у писателя. Маколей носился с этим планом еще в 1841 году и постепенно собирал материалы. Как видно из письма Джеффрея, два года спустя план уже осуществлялся: Маколей читал Джеффрею отрывок из своей истории. Как только распространилась весть об этом, к историку отовсюду стали стекаться различные неизданные материалы, а сам он перечитывал целую массу уже напечатанного: старые газеты, брошюры и памфлеты. Для него история была не описанием битв, дипломатических переговоров, перемен правительства и придворных происшествий. Он справедливо видел здесь только одну сторону, некоторый исторический угол, видимую и окончательную форму почти неуловимых социальных перемен.

«Обстоятельства, – говорит он в статье „Об истории“, – которые имеют наибольшее влияние на счастье человечества: перемена в нравах и понятиях, переход общества от бедности к богатству, от невежества – к образованности, от дикого состояния – к гуманности, – все это по большей части суть революций, которые совершаются незаметно и без всякого шума. Они редко проявляются в том, что историки обыкновенно называют важными событиями. Они не производятся посредством армий и решений сенатов. Они не утверждаются трактатами, и следов их нельзя найти в архивах. Они совершаются в каждой школе, в каждом приходе, за десятью тысячами купеческих счетных столов, у десяти тысяч очагов. Верхнее течение общества не представляет

верного критерия, при помощи которого мы могли бы судить о том, какое направление принимает нижнее течение его».

Работа историка должна состоять, по мнению Маколея, в умелом выборе характерных черт и группировке материала. Ему нет надобности изображать все с одинаковой подробностью. Одно он выдвигает вперед, другое заслоняет более важным, сообразуясь не с важностью лица, а с его историческим значением. Если этого требует дело, он показывает читателю двор не чаще, чем нацию. Он рисует картину эпохи так, что читатель невольно становится современником далекого прошлого. Маколей вполне оправдал на деле этот «рецепт» истории. Когда читаешь, например, описание смерти Карла II, те именно моменты, когда приближенные заняты мыслью о христианском долге умирающего, почти забываешь, что держишь в руках историю, основанную на документах, а не роман, рассчитанный на воображение читателя. В эти моменты Маколей столько же историк, сколько беллетрист и психолог. Он признавал этот способ вполне разумным и ссылался на пример классических писателей. «Произведения классических историков, – говорил он, – могут быть названы романами, основанными на фактах. Рассказ в них во всех главных основаниях несомненно верен, но бесчисленные мелочи, усиливающие интерес, – слова, телодвижения, взгляды – явно созданы воображением автора. Метод позднейших времен иной. Писатель сообщает рассказ более точный. Сомнительно, однако, точнее ли становятся от этого сведения читателя. Лучшие портреты – едва ли не те, в которых есть легкая примесь карикатуры, и мы не уверены, что лучшие истории – не те, в которых с толком употреблена доля прикрас. Кое-что теряется в точности, зато много выигрывается в эффекте. Мелкие штрихи забываются, но важные характерные черты запечатлеваются в уме навсегда».

Чтобы придать художественный элемент своей «Истории», Маколей предпринял несколько путешествий по Англии, Шотландии и Ирландии. Чтобы усилить свои впечатления и запас местных сведений, он обходил пешком целые графства, собирал предания и легенды, подмечал обычаи и воззрения, отголоски минувшего в настоящем. В Соммерсетшире, близ места сражения под Седмуром, где Монмут был разбит Яковом II, он провел несколько недель в скромной деревенской гостинице, изучая местность, и тут же написал этот эпизод «Истории».

В 1847 году работа уже кипела, а зимой следующего года появились в печати первые два тома «Истории». Корректуру издания держал Джеффрей, большой мастер ставить знаки препинания и тонкий знаток языка. Сам Маколей посвящал

отделке произведения массу времени и терпения. По словам Теккерея, «он перечитывал двадцать книг, чтобы написать одну фразу, и ездил за двести миль, чтобы восстановить описание какой-нибудь местности». Тем не менее, когда настала пора передать свое произведение на суд читателей, Маколей не чужд был робости и, по собственному выражению, «вооружался философией на случай неудачи». Его опасения не оправдались – новый труд популярного писателя был встречен с восторгом, и в течение шести месяцев потребовалось пять изданий. Во всех уголках Британии, где только можно было найти просвещенного человека, «История Англии», живая и увлекательная в описаниях, ясная и тонкая в оценке событий, производила впечатление настоящего открытия. Какой-то манчестерский энтузиаст-читатель, ознакомившись с нею, решил непременно прочесть ее рабочим и действительно исполнил свое намерение, а его слушатели послали автору адрес – за книгу, «доступную пониманию даже рабочего люда».

Основной мотив исторического труда Маколея вполне определяется введением в «Историю»: «Я предполагаю, – говорит здесь Маколей, – написать историю Англии с восшествия на престол Якова II до времени, которое запечатлено в памяти доныне живущих людей. Я изложу ошибки, которые в несколько месяцев отвратили верных джентри и духовенство от дома Стюартов. Я прослежу ход той революции, которая окончила другую борьбу между нашими государями и их парламентами и связала воедино права народа с основанием права царствующей династии. Я расскажу, как новое устройство в течение многих смутных лет было успешно защищаемо от внешних и внутренних врагов, как при этом устройстве авторитет закона и безопасность собственности оказались совместными с неведомой дотоле свободой прений и частной деятельности, как из счастливого союза порядка со свободой возникло благоденствие, вровень которому летописи дел человеческих не представляли еще ни единого примера».

В этих строках вылился весь вигизм Маколея – свобода и порядок, благоденствие и безопасность собственности, немудрено поэтому, что истые тори встретили его «Историю» самыми жестокими нападками. Они говорили, что Маколей не сообщил ничего нового, а старое сделал баснословным, что он очень часто ошибается, баронета называет сквайром и приверженца тори вигом. Здесь было много справедливого, хотя внушенного отнюдь не любовью к истине, а потому одностороннего. В большей части своего труда Маколей действительно излагал факты уже известные, но он вовсе не задавался целью открывать Америку в

исторической области, потому что Америка здесь была уже открыта, благодаря исследованиям Фокса, Галлама, Макинтоша, Юма и прочих. Однако этим, не говоря уже о мелких ошибках, отнюдь не уменьшалась высокая ценность его труда. Среди английских историков за ним навсегда упрочено славное и вполне самостоятельное место. Маколею принадлежит установление точного взгляда на прошлое Англии. Он отрешил англичан и тех, кто разделял их заблуждения, от навеянного романами сентиментального взгляда на Стюартов, от презрительного отношения к деятелям английской революции, в частности к Кромвелю. Он показал логикой и красноречием фактов, что утверждения Англии XIX века были прямым последствием борьбы несправедливо третируемых людей с несправедливо возвеличенными Стюартами, что английская свобода – и в общем, и в частностях – приобретена руками деятелей XVII века, и если приобретение стоило жертвы, то завоеватели свободы заслуживали благодарности и почтения. «Хотя я и осмеливаюсь иногда, – говорит Бокль по поводу „Истории Англии“, – расходиться во мнениях с Маколеем, но не могу удержаться, чтобы не выразить моего удивления его неутомимому прилежанию, мастерской ловкости, с какою он расположил свой материал, и возвышенной любви к свободе, которая оживляет все его сочинение. Эти свойства переживут всю клевету его поносителей, которые в деле знания и дарований недостойны развязать ремень у сапога того, на кого они так бессмысленно нападают».

Эдинбургские избиратели тоже оценили «Историю» Маколея. Под ее впечатлением они забыли прежние недоразумения с бывшим депутатом и опять избрали его своим представителем. Это пришлось на 1852 год. Маколей уже чувствовал утомление и первые припадки болезни и потому редко появлялся в парламенте. В 1856 году он совсем отказался от полномочий. Он проводил теперь большую часть времени в предместье Лондона Кингстоне, на собственной вилле Холли-Лодж. Ранние посетители его убежища могли встретить историка или в саду, или в рабочем кабинете, главное убранство которого составляли книги и портрет Джонсона. Маколей высоко ценил Джонсона как человека, и это весьма характерно для личности самого Маколея. «Доктора Джонсона, – говорил он, – мало знают иностранцы, но в наших глазах он стоит высоко. Мы смотрим на него не только как на знатока английского языка, но как на первого литератора, который твердо защищал независимость и достоинство своего звания против аристократии, богатства и невежества, переносил горечь нищеты и презрение толпы гордо и спокойно, боролся за

свои мнения и не уступал сильным земли».

Маколей был среднего роста, довольно толст, крепкого сложения. Его манеры отличались простотой, вся фигура – привлекательностью, несмотря на несколько неуклюжую походку. Особенно красива была его голова с правильными и подвижными чертами лица, с высоким лбом и темно-голубыми глазами. Очарование усиливалось, когда Маколей говорил. Он был в этом отношении первым человеком в салонах Лондона. Обилие его речи было поразительно, он как будто писал в это время какой-нибудь из «Опытов» и засыпал слушателей подавляющей массой самых разнообразных сведений. Феноменальная память и начитанность, наконец, какое-то чисто болезненное стремление говорить делали Маколея неистощимым и подчас тяжелым рассказчиком. Об этом сохранилось много забавных рассказов, например следующий, принадлежащий Джеффрею. Дело было на обеде в ресторане. Обедали втроем: лорд Мунтигль, Джеффрей и Маколей. Разговор, как обычно, завел историк и, сколько ни пытались вставить слово его собеседники, говорил без умолку целых три часа. Измученные слушатели наконец уснули тут же за столом, а Маколей все-таки продолжал свой монолог. Эта слабость писателя всегда была предметом насмешек его знакомых, особенно Сиднея Смита, тоже салонного говоруна. Однажды оба causeur'а сошлись у Ромилли. Речь коснулась Данте. «Данте великий поэт, – сказал Смит, – но он просто школьник в искусстве изобретать казни. У него нет для этого ни воображения, ни знания человеческого сердца. Если бы мне пришлось взяться за дело, я показал бы вам, как надо устроить ад. Вот, например, для тебя, Маколей, я придумал бы наказание: я сделал бы тебя немым. Тебе постоянно трубили бы в уши разные бессмыслицы, перевирали бы все факты и цифры царствования королевы Анны, ругались бы в твоем присутствии над всеми либеральными мнениями, а ты не мог бы сказать в защиту их ни одного слова…» На закате дней историк сделался замкнутее и, по словам того же Смита, обнаруживал даже «некоторые проблески молчания». Обычная его рассеянность превратилась в это время в припадки глубокой меланхолии, и, как видно из его дневника, он начинал уже чувствовать, что не может больше работать.

С 1849 года Маколей был на вершине популярности. Жители Глазго поднесли ему диплом почетного гражданства, Лондонская королевская академия избрала его почетным профессором древней истории, а Эдинбургский философский институт – президентом. В 1857 году Маколей был возведен в звание пэра. Между тем здоровье его становилось все хуже и хуже. В мае следующего года он произнес в Кембридже последнюю речь в

благодарность за титул «лорда высокого покровителя». «С нынешнего дня, – писал Маколей в своем дневнике 16 декабря 1859 года, – мне приходится отмечать наименее отрадные дни в моей жизни. Холод сильнее чем когда-либо останавливает обращение крови. Пульс бьется неправильно. Чувствую себя очень дурно. Упадок духа, слабость, стеснение сердца, неспособность ко всякой работе, требующей постоянного напряжения, приводит меня в отчаяние. Мне *тяжело написать несколько строк».* Через двенадцать дней Маколея посетил племянник Тревельян и, войдя в библиотеку, увидел его в кресле с опущенной на грудь головой и в каком-то оцепенении. На столе лежала новая книжка журнала, развернутая на романе Теккерея «Lovel the Widower». Испуганный этим зрелищем и молчанием дяди, племянник поспешил домой за родными, но, когда они прибыли, Маколей уже умер.

Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, в отделении поэтов у подножия статуи Адиссона, которому историк посвятил один из лучших опытов, близ Шеридана и Джонсона. На могильном камне была сделана надпись, год и место рождения и смерти с краткой эпитафией: *«Тело его покоится в мире, но имя не умрет никогда».*

«Личности, – говорит о Маколее Писарев, – оживают под его пером и отдают полный отчет в своих поступках, в своих мыслях и побуждениях; перед глазами читателя происходит величавый процесс, в котором живой и умный англичанин, оратор и парламентский боец, является то обвинителем, то адвокатом выводимой личности, смотря по тому, куда влечет его голос совести и личного убеждения. Кроме описываемой и разбираемой исторической личности читатель видит перед собой образ критика, видит, как меняется выражение этого умного, подвижного лица, слышит в его интонации то сочувствие, то негодование, то иронию, то воодушевление, которые возбудили бы во всяком человеке те или другие явления жизни и человеческой личности». Именно во всяком человеке… Маколей всегда остается в толпе, в среде ее интересов, он никогда не забывает, что известное событие, известная личность принесли современникам или радость, или горе, или способствовали благоденствию Англии, или тормозили ее развитие. От всех человеческих поступков он требует пользы. Есть эта польза для общества и для отдельного человека – он сияет, он – адвокат этого дела, события, лица; нет – в таком случае не ищите более сурового и неумолимого прокурора. И таким Маколей оставался всегда – и как историк, и как критик, и как общественный деятель, иначе говоря, он всегда оставался последним.

Он был в этом отношении ярким представителем английской

нации, чуждой преклонения пред туманными идеалами, более поэтичными, чем осуществимыми. Философия, литература, искусство, политика – возьмите какую угодно сферу человеческой деятельности – Маколей повсюду применяет свою мерку полезности. В нем в сильнейшей степени развито чувство прекрасного. Он никогда не бросил камнем в художественное создание человеческого гения, но все потому же: в его глазах прекрасное тоже полезно, потому что оно увеличивает сумму человеческого счастия… А философия? «Случись нам, – говорит Маколей, – делать выбор между первым башмачником и автором трех книг о гневе, мы выбрали бы башмачника. Пожалуй, рассердиться хуже, чем промокнуть. Но башмаки предохранили миллионы людей от сырости, а мы сомневаемся, удержал ли кого Сенека от гнева…» В Германии такие афоризмы способны поднять целую бурю, но в Англии они в порядке вещей. «В Англии, – говорит Тэн, – барометр называют еще и теперь философским инструментом, с философией в собственном смысле там никто не знаком. Там есть моралисты, психологи, но нет метафизиков; а если мы и встречаем такового – возьмем, например, мистера Гамильтона – то он всегда оказывается скептиком в метафизике. Он прочел немецких философов, для того чтобы их опровергнуть; он считает умозрительную философию нелепостью, созданной пустоголовыми людьми; он должен извиниться перед читателем за странность предмета, о котором говорит, когда старается объяснить некоторые умозаключения Гегеля».

Лишь одна часть философии всегда любезна сердцу Маколея. Это – мораль. Вот почему его биографии – скорее оценки. Он постоянно подсчитывает в них число и степень пороков и добродетелей и прерывает рассказ, чтобы обсудить, правилен или неправилен описываемый им поступок. «Если бы я осмелился, – говорит Тэн, – употребить, подобно Маколею, религиозные сравнения, то сказал бы, что его критика похожа на Страшный Суд, где разнообразие талантов, характеров, положений и должностей исчезает в оценке добродетели и порока, где не будет художников, а будут только праведники и грешники».

Святая святых Маколея – политическая свобода. Он любит ее из интереса, потому что она обеспечивает безопасность собственности и счастие каждого человека, наконец, из гордости, как патриот, потому что эту свободу защищал целый ряд лучших и честнейших деятелей отчизны. Ничто не способно возмутить его в такой степени, как вид насилия – и в прошлом, и в настоящем, и в Англии, и где угодно.

Как писатель, Маколей отличается, по выражению Тэна, «чрезвычайной основательностью ума». Его доказательства

сильны и убедительны, все свидетельства взвешенны, а развитие мысли совершается прямо, не теряясь в отступлениях: «Цель его всегда перед глазами, он идет к ней самой верной и самой прямой дорогой». Кто бы ни читал его – он для всех понятен. Он начинает так просто, что читатель как будто беседует с человеком своего круга, а между тем, незаметно для себя, поднимается до обсуждения таких вопросов, на которые никогда бы не отважился самостоятельно, и с такой ясностью и силой логики, на которую нигде не мог бы рассчитывать. «Читая Маколея, – говорит Тэн, – чувствуешь себя непринужденным, чувствуешь, *что создан, чтобы понимать,* досадуешь, что долго принимал сумерки за день, радуешься, видя эту льющую волной обильную ясность, точность стиля, антитезы мысли, симметричность построения, искусное сопоставление пунктов, энергические выводы, правильное течение мысли. Нет ни одной мысли, ни одной фразы в его сочинениях, в которой не проявлялись бы в полном блеске талант и потребность объяснения, составляющие свойства оратора».

# Источники

1. *Trevelyan.* The life and letters of Lord Macaulay.
2. *Wilberforce.* Life of Wiliam Wilberforce by his sons.
3. *Guisot.* Sir Robert Peel.
4. *Маколей.* Сочинения со статьей Вызинского «Жизнь и деятельность лорда Маколея». То же со статьей Тэна.
5. *Каченовский.* Воспоминания о Маколее. – «Русское слово», 1860, № 6.

**notes**

# Примечания

# 1

«До каких же пор, Каталина?!» *(лат.)*.

# 2

«Да воссияет свет во тьме!» *(лат.)*.

# 3

«Циркуляр об отмене налога на хлеб» *(фр.)*.